

ДОНОСЫ в РОССИИ

ПУТЬ ВЫЖИВАНИЯ

A close-up portrait of a man with dark hair, a beard, and green eyes. He has a serious expression and a small wound on his right cheek. He is wearing a dark jacket with a chain around his neck. The background is a textured, dark surface.

ЭРИК ЛИНДБЕРГ

Доносы в России. Путь выживания

Эрик Линдберг

Оглавление

Пролог

Глава 1: Праведник в стране кривых зеркал

Глава 2: Музыка на пепелище

Глава 3: Три грации в рясах

Глава 4: Исповедь стукача

Глава 5: Сезон охоты

Глава 6: Иуда в каждом доме

Глава 7: Побег из зоны молчания

Глава 8: Истоки подмены

Глава 9: Архитекторы страха

Глава 10: Тень Четвертого Рейха

Глава 11: Время разбрасывать камни

Пролог

В одном из городов, который мог бы находиться где угодно между Калининградом и Владивостоком, стояла та особенная, липкая тишина, какая бывает только перед грозой или перед обыском. В квартире номер сорок два, на третьем этаже панельной пятиэтажки, горел свет. За столом, покрытым клеенкой в мелкий цветочек, сидел человек неопределенного возраста и внешности. Если бы вы встретили его в очереди за хлебом или в автобусе, ваш взгляд скользнул бы по нему, не зацепившись ни за одну деталь. Это был человек-функция, человек-винтик, идеально смазанный государственной пропагандой.

Звали его Семен Петрович, и он был занят делом государственной важности. Он пил чай с сушками и разрушал чью-то жизнь.

Перед ним светился экран ноутбука. Курсор ритмично мигал в конце предложения, словно подгоняя мысль, которая никак не хотела оформляться в казенные формулировки. Семен Петрович не был злым человеком. Он любил кошек, исправно платил за капитальный ремонт, которого никогда не будет, и всегда уступал место пожилым людям в транспорте. Но сейчас он чувствовал то сладкое, пьянящее чувство причастности к чему-то великому и карающему, которое испытывали миллионы его предшественников в тридцатые годы прошлого столетия. Только у тех были чернильницы и перья, а у Семена Петровича — клавиатура и форма обратной связи на сайте ведомства.

«Прошу обратить внимание на подозрительную активность гражданки К...», — печатал он, аккуратно вытирая крошки сушки с пробела. Ему не нравилась гражданка К. Не то чтобы она сделала ему что-то плохое. Нет. Она просто слишком громко слушала музыку, которую Семен Петрович не понимал, и однажды в разговоре у подъезда назвала происходящее в стране «безумием». Тогда он промолчал, вежливо кивнул, придерживая дверь. Но внутри у него сработал невидимый тумблер. Механизм, отлаженный годами телевизионных эфиров и проповедей о врагах народа, пришел в движение.

Он не считал это доносом. Боже упаси. Слово «донос» пахло сырными подвалами и страхом. Семен Петрович называл это «сигналом». Или «проявлением гражданской позиции». Ему казалось, что, нажимая кнопку

«Отправить», он не просто отправляет текст в цифровую бездну, а лично встает в строй защитников Родины, плечом к плечу с невидимыми героями.

За окном проехала машина с мигалкой, разрезая темноту синим всполохом. Семен Петрович вздрогнул, но тут же успокоил себя: едут не за ним. Пока не за ним. Ведь он — на правильной стороне истории. Он — санитар леса.

Где-то в параллельной вселенной, а может быть, просто в соседнем районе, в этот момент проснулся отец Василий. Ему приснилось, что иконы в его храме вдруг закрыли лица руками. Василий сел на кровати, прислушиваясь к тишине дома. Тишина была плотной, тяжелой. В ней не было благодати, только ожидание. Он еще не знал, что механизм, смазанный такими вот Семенами Петровичами, уже начал перемалывать судьбы тех, кто был ему дорог. Он не знал, что где-то в высоких кабинетах, куда не долетает пыль с сельских дорог, уже расписаны роли: кто будет жертвой, кто палачом, а кто — безмолвным свидетелем.

Семен Петрович допил чай, удовлетворенно хмыкнул и нажал «Enter». В цифровом пространстве полетел пакет данных, который через неделю обернется для кого-то сломанной дверью в пять утра, испуганными глазами детей и долгими годами казенного дома.

«Ну вот, — подумал Семен Петрович, закрывая ноутбук. — День прожит не зря».

Он погасил свет и лег спать, и сон его был крепок и безмятежен, как у младенца или у человека, у которого окончательно атрофировалась совесть. А над страной, огромной и запутавшейся, занимался серый, бесцветный рассвет, не обещавший ничего, кроме новых списков «иностранных агентов» и свежих сводок с фронтов невидимой войны всех против всех.

Глава 1: Праведник в стране кривых зеркал

Село Нижние Котлы, затерянное где-то в средней полосе России, просыпалось не от крика петухов, а от надсадного кашля старого ПАЗика, который каждое утро, словно Харон, увозил немногих счастливиц на работу в райцентр. Здесь, среди

покосившихся заборов и вечной, экзистенциальной грязи, которая, казалось, была не просто почвой, а состоянием души, жил отец Василий.

Ему было тридцать шесть лет — возраст, когда Данте уже спустился в ад, а среднестатистический российский мужчина только начинает задумываться, почему у него болит печень. Василий был высок, худощав и обладал тем типом лица, которое на иконах пишут с выражением вселенской скорби, а в паспортном столе фотографируют с подозрением. В его глазах, светло-серых, как осеннее небо над Нечерноземьем, читалась некая виноватая интеллигентность, совершенно неуместная в краях, где прав тот, у кого громче голос и тяжелее кулак.

Отец Василий служил в храме Святого Николая Чудотворца. Храм этот, переживший революцию, склад удобрений и клуб механизаторов, теперь переживал эпоху «возрождения», которая выражалась в том, что купола позолотили, а крышу починить забыли. Впрочем, это было вполне в духе времени: фасад сиял величием, а внутри, если присмотреться, по стенам ползла черная плесень, похожая на метастазы какой-то застарелой болезни.

Утро Василия начиналось не с молитвенного правила, как полагалось бы благочестивому пастырю, а с проверки уровня масла в его старенькой «Ниве». Эта машина была для него не просто средством передвижения, а верным осликом, на котором он въезжал в повседневный ад своих прихожан. Руки священника, которые через пару часов будут держать Чашу с Кровью Христовой, сейчас были по локоть в мазуте. Он любил этот запах — честный запах железа и смазки. В нем не было лукавства, в отличие от ладана, которым порой пытались заглушить смрад разложения, идущий не от тел, а от душ.

— Опять карбюратор шалит, батюшка? — проскрипел голос из-за забора.

Это была баба Нюра, местная пифия и главный политинформатор улицы Заречной. Она стояла, опираясь на клюку, одетая в бесформенное пальто, которое помнило еще похороны Брежнева.

— Шалит, Нюра, шалит, — отозвался Василий, вытирая руки ветошью. — Как ваше здоровье?

— Да какое здоровье, отец родной! — оживилась старуха, почуяв свободные уши. — Всю ночь не спала, сердце колело. Это всё они, ироды, лучами нас облучают. По телевизору сказывали, что спутники специальные запустили, чтоб русский

народ извести. А еще сахар подорожал. Это тоже их рук дело, чтоб нам жизнь медом не казалась.

Василий вздохнул. Он знал, что «они» — это собирательный образ мирового зла, который в голове бабы Нюры причудливо смешивался с соседом-алкоголиком, укравшим у нее курицу, и абстрактными заокеанскими стратегами.

— Вы бы, Нюра, валерьяночки выпили и телевизор поменьше смотрели, — мягко посоветовал он. — А то ведь от гнева и давление скачет.

— Как же не смотреть, батюшка? — искренне изумилась она. — Там же правду говорят! Кто ж нам еще правду скажет, кроме телевизора? Ты вот всё молчишь, проповеди у тебя какие-то... про любовь всё, про прощение. А время-то сейчас какое? Время суровое! Враг у ворот!

Василий промолчал. Спорить было бесполезно. Телевизор в Нижних Котлах давно заменил иконостас. Синий экран мерцал в каждой избе, вещая о величии и кольце врагов, и этот гипнотический свет был для многих единственным утешением в жизни, где туалет — на улице, а дрова нужно заготавливать с лета. Люди жаждали величия, потому что их собственная жизнь была унизительно мала и беспросветна. Им нужно было чувствовать себя частью огромной, грозной силы, чтобы не замечать дыр в собственном заборе.

Закончив с машиной, Василий прошел в дом. Его жилище было скромным, если не сказать аскетичным. Но была в нем одна тайна, о которой не знал даже благочинный. В старом комоде, под стопкой подшивок «Журнала Московской Патриархии», лежали книги, за которые в нынешней церковной среде могли и сана лишить, а то и в ереси обвинить.

Василий выдвинул ящик, осторожно достал томик Виктора Франкла «Сказать жизни “Да!”». Рядом лежали Юнг, Бердяев и даже, страшно сказать, переводы суфийских притч. Он читал их по ночам, когда село погружалось в пьяный сон. Это было его духовное подполье, его личная катакомбная церковь. Официальная доктрина требовала ответов, готовых и затвердевших, как бетон, а эти книги задавали вопросы. Василий любил вопросы. В них был воздух. В ответах, которые спускали сверху циркулярами, воздуха не было — только затхлый запах казармы.

Он открыл Франкла на закладке. «У кого есть “Зачем”, тот выдержит почти любое “Как”». Василий закрыл глаза. Его «Зачем» становилось всё более

призрачным. Он служил Богу, который есть Любовь, в структуре, которая всё больше напоминала министерство по делам оправдания ненависти.

Служба в то утро давалась ему особенно тяжело. В храме было немногочисленно: несколько старушек, пара хмурых мужиков с похмелья, зашедших поставить свечку «на удачу», и местный предприниматель Аркадий, который жертвовал на храм, надеясь, видимо, откупиться от налоговой и Страшного Суда одним траншем.

Наступил момент, которого Василий боялся каждый раз. Нужно было читать «Молитву о Святой Руси» — тот самый текст, спущенный из Патриархии, где под благочестивыми оборотами скрывалось требование молиться за победу оружия. Слова эти застревали у Василия в горле, как рыбья кость. Он физически не мог произнести прошение о том, чтобы одни люди успешнее убивали других.

Он стоял перед престолом, чувствуя спиной взгляды прихожан. В алтаре пахло воском и старым деревом. Василий набрал в грудь воздуха и начал читать, но там, где в тексте стояло «победу», он едва слышно, одними губами, произносил «мир». Там, где просили «низложить супостатов», он молился о «умягчении сердец». Это был его маленький, невидимый бунт. Бунт на коленях. Он чувствовал себя шпионом в тылу врага, радистом, который передает шифровку на Небо, надеясь, что там, наверху, разберут его шепот сквозь грохот казенных молебнов.

— ...и даруй нам мир Твой, — закончил он, и по спине его текла холодная струйка пота.

После службы к нему подошла вдова, Марья Ивановна. Женщина еще не старая, но с лицом, изборожденным морщинами, словно пересохшая земля. Муж её умер год назад от паленой водки — обычная история для этих мест.

— Батюшка, — она теребила край платка, — беда у меня. Крыша совсем прохудилась. Дождь был намедни, так в сенях хоть карасей разводи. А денег нет, пенсию только через неделю дадут, да и той — кот наплакал. Может, знаете кого, кто подсобить может? Я бы картошкой расплатилась, или соленьями...

Василий посмотрел на её руки — грубые, с въевшейся землей под ногтями. Руки, которые всю жизнь работали и ничего не заработали, кроме артрита и права на бесплатное место на кладбище.

— Не надо картошки, Марья Ивановна, — сказал он, снимая епитрахиль. — Я после обеда заскочу. Есть у меня рубероид, остался от ремонта сарая. Поглядим вашу крышу.

— Да как же так, батюшка? — всплеснула она руками. — Вам ли, священнику, по крышам лазить? Негоже это...

— А что гоже? — грустно улыбнулся Василий. — Слова говорить? Слов у нас, Марья Ивановна, и так много. Дел мало. Ждите, приеду.

Через час он уже был у дома Марьи. Переодевшись в старый рабочий комбинезон, Василий ловко, как заправский монтажник, вскарабкался на крышу. Сверху село казалось еще более убогим и одновременно трогательным. Серые крыши, дымки из труб, лай собак. Отсюда не было видно ни лозунгов на здании администрации, ни телевизионных антенн, ловящих сигналы ненависти. Была только земля и люди, живущие на ней вопреки всему.

Он работал споро, привычно орудуя молотком. Каждый удар отдавался в тишине улицы гулким эхом. Проходивший мимо участковый, лейтенант Сидоров, остановился, задрал голову и с недоумением посмотрел на священника.

— Бог в помощь, отец Василий! — крикнул он, сдвинув фуражку на затылок. — Ты это чего? В плотники подался?

— И плотником был, — отозвался Василий сверху, не прекращая работы. — Самый Главный Плотник, помнишь?

Участковый хмыкнул, не поняв намека, или сделав вид, что не понял.

— Ты это, батюшка... поаккуратнее там. А то времена нынче такие... Неровен час, упадешь.

В голосе полицейского прозвучало что-то двусмысленное. То ли забота, то ли предупреждение. Василий на секунду замер с занесенным молотком. «Неровен час, упадешь». Да, упасть нынче было легко. Достаточно было сказать не то слово, прочитать не ту молитву, или просто починить крышу вдове бесплатно, нарушив негласный закон всеобщего равнодушия и стяжательства.

Закончив с крышей, Василий спустился вниз, где Марья Ивановна уже накрыла на стол в саду: вареная картошка, огурцы, сало.

— Спаси тебя Христос, батюшка, — она вытирала слезы концом платка. — Золотые у тебя руки. И сердце золотое. Только вот...

Она замялась, глядя на него с жалостью.

— Что «только», Марья Ивановна?

— Не бережешь ты себя. И люди разное говорят.

— Что говорят?

— Да разное... Что не наш ты какой-то. Станный. Войну не хвалишь, с начальством не пьешь. Вон, отец Никодим из соседнего прихода — тот на джипе ездит, с главой района в бане парится, речи говорит правильные. А ты... всё с нами, с сирыми да убогими. Смотри, батюшка, съедят они тебя. Не любят у нас тех, кто не как все.

Василий молча жевал огурец. Он знал, что она права. В стране кривых зеркал тот, у кого лицо прямое, кажется уродом.

Вечером, когда он уже собирался немного почитать, в дверь постучали. Стук был тревожный, сбивчивый. На пороге стоял мальчишка лет десяти, сын соседа.

— Дядь Вась! Там деду Мише плохо! Упал, за сердце держится, посинел весь! Бабка скорую вызывает, а они говорят — машин нет, ждите, может, к утру будет!

Василий не задавал вопросов. Он схватил ключи от «Нивы», на ходу набрасывая куртку.

— Садись, показывай!

Дед Миша, ветеран труда и убежденный сталинист, лежал на диване в своей избе, хватая ртом воздух, как выброшенная на берег рыба. Лицо его было серым, губы синюшными.

— Держись, Михаил Петрович, — Василий подхватил грузное тело старика. — Сейчас, сейчас... В больницу поедem.

Они грузили его в машину вместе с соседом. Старик хрипел, его глаза, полные животного ужаса перед смертью, бегали по сторонам.

Дорога до районной больницы была испытанием не для слаонервных. Асфальт здесь, казалось, бомбили, хотя война шла где-то далеко. «Нива» прыгала

на ухабах, Василий стискивал зубы, стараясь вести машину как можно мягче, но это было невозможно.

— Ох... ох... — стонал с заднего сиденья дед Миша. — За что ж мне это... Я ж всю жизнь... на заводе... Партию любил... Сталина видел...

Василий смотрел на дорогу, освещенную тусклыми фарами. Вот он, парадокс русской души, думал он. Человек умирает, потому что государство, которое он боготворит, украло деньги на дороги и больницы, оптимизировало медицину до полного её исчезновения. Но даже в агонии он цепляется за этот миф о величии. Он готов простить этому государству свою нищету, свою боль, свою смерть, лишь бы оно было «великим» и «страшным» для других.

— Потерпи, Петрович, немного осталось, — говорил Василий, объезжая очередную яму, похожую на воронку от снаряда.

В приемном покое было тихо и пахло хлоркой и безнадежностью. Заспанная медсестра лениво заполняла журнал.

— Куда вы его тащите? Мест нет, — буркнула она, не поднимая головы.

— Инфаркт, похоже, — жестко сказал Василий. — Зови врача. Быстро.

Тон его был таким, что медсестра вздрогнула и, наконец, посмотрела на него. Увидев священника в подряснике, поверх которого была накинута грязная рабочая куртка, она растерялась.

— Сейчас... я сейчас...

Когда деда Мишу увезли на каталке, Василий вышел на крыльцо больницы. Ночной воздух был холодным и влажным. Он достал из кармана дешевую сигарету — грех, с которым он боролся годами, но который возвращался к нему в минуты отчаяния. Закурил. Дым был горьким, как и его мысли.

Он стоял под мигающим фонарем, маленький человек в огромной, темной стране. Он починил крышу, он привез умирающего в больницу, он не прочитал молитву о войне. Это были капли в море. Вокруг него бушевал океан безумия, где ложь называли правдой, а ненависть — патриотизмом. Люди писали доносы, благословляли убийства и умирали в нищете, гордясь своим величием.

Василий посмотрел на небо. Звезд не было видно за низкими тучами.

— Господи, — прошептал он, выпуская дым. — Ты же видишь всё это. Неужели Тебе не больно?

Ответа не было. Только где-то вдалеке выла собака, да ветер гремел оторванным листом железа на крыше больничного морга. Василий затушил окурок о подошву ботинка, сел в свою старую «Ниву» и поехал домой, в темноту, которая с каждым днем становилась всё гуще. Ему предстояло жить дальше, сохраняя рассудок в сумасшедшем доме, где врачами назначили самых буйных пациентов.

Глава 2: Музыка на пепелище

Дом Вероники Михайловны стоял по соседству на отшибе, словно стесняясь своего сиротливого вида среди наступающих со всех сторон коттеджей из красного кирпича, обнесенных глухими заборами. Это был старый, еще советской постройки пятистенки, который держался на честном слове и, кажется, на одной лишь силе воли хозяйки. Внутри пахло сушеной мятой, старыми книгами и той особенной, пронзительной чистотой, которая бывает только в домах, где бедность возведена в ранг добродетели не по выбору, а по неизбежности.

Здесь жили «дети врагов народа». В двадцать первом веке, в эпоху цифровизации и полетов на Марс, этот термин, казалось бы, должен был остаться в пыльных архивах НКВД, но история, эта злая шутница с деменцией, решила прокрутить старую пластинку заново, только на этот раз добавив басов и увеличив громкость.

Артему было десять, Софии — тринадцать. У Артема были глаза цвета неба, а у Софии — взгляд маленькой старушки, которая уже видела всё, что жизнь может предложить, и осталась этим глубоко разочарована. Они жили с бабушкой, Вероникой Михайловной, бывшей учительницей литературы, которая теперь училась выживать на пенсию, размер которой вызывал не столько возмущение, сколько гомерический хохот у любого, кто хоть раз заходил в продуктовый магазин.

Отец Василий часто бывал в этом доме. Он приходил не как священник, чтобы прочитать нотацию о смирении, а как человек, пытающийся залатать дыру в мироздании, образовавшуюся на месте этой семьи. Он приносил продукты — муку,

сахар, иногда конфеты, которые покупал на свои скудные средства, — и чинил то, что ломалось. А ломалось здесь всё, словно вещи чувствовали отсутствие хозяйской мужской руки и в знак солидарности отказывались работать.

История падения этой семьи в бездну государственного абсурда была проста и страшна своей обыденностью. Она не содержала в себе заговоров или шпионских страстей. Это была трагедия маленького человека, попавшего под колеса огромной, ржавой, но все еще смертоносной машины.

Николай, отец детей, был инженером. Из тех инженеров, на которых когда-то держалась вся страна: тихий, интеллигентный, с вечно испачканными чернилами пальцами и головой, забитой чертежами мостов, которые должны были соединять берега, а не разрушаться под гусеницами танков. Он был пацифистом не по моде, а по самой своей сути. Николай не мог ударить даже собаку, огрызнувшуюся на него у подъезда. Он верил в сопромат и в то, что любая конструкция должна быть устойчивой, а война — это самая неустойчивая конструкция в мире, которая неизбежно рухнет, погребя под собой создателей.

Когда в сентябре двадцать второго года в дверь постучали, Николай пил чай и проверял домашнее задание у Софии. Повестка была похожа на приглашение на казнь, напечатанное на плохой бумаге. Военкомат не интересовали его убеждения, его очки с толстыми линзами или то, что он единственный кормилец. Система работала по принципу пылесоса: втягивала всё, что не успело спрятаться.

— Настя, это ошибка, — говорил он жене, собирая рюкзак дрожащими руками. — Я там не нужен. Я строитель, а не разрушитель. Я объясню им. Там же тоже люди сидят.

Это была его главная ошибка — верить, что там сидят люди. Там сидели функции. Николай ушел в серую морось осеннего утра и исчез. Сначала были редкие звонки, полные растерянности и страха, потом — тишина. А потом пришла бумага: «Пропал без вести». Эта формулировка была удобна всем, кроме семьи. Для государства нет тела — нет выплаты, нет статистики, нет проблемы. Для Анастасии это стало началом конца.

Анастасия была музыкантом. Гитара, скрипка и голос — вот и всё её оружие. Когда Николая забрали, а потом он растворился в тумане войны, в ней что-то надломилось. Но сломалось не так, как ломается сухая ветка, а как лопается струна

— с резким, болезненным звуком, который невозможно игнорировать. Она не могла молчать. Горе требовало выхода, и оно нашло его в музыке.

Она стала выходить на центральную улицу райцентра, к старому универмагу, где еще сохранилась лепнина советских времен. Анастасия пела. Сначала это были просто грустные романсы, но постепенно репертуар менялся. В её песнях стало появляться то, о чем шептались на кухнях, но боялись сказать вслух. Она пела о птицах, которым подрезали крылья, о полях, засеянных железом, о матерях, ждущих сыновей, которые никогда не вернутся.

И вот тут на сцену вышла Клавдия Петровна.

Клавдия Петровна жила в соседнем селе. Это была женщина неопределенного возраста и необъятных размеров, чья жизненная энергия, не найдя выхода в созидании, полностью ушла в наблюдение и осуждение. Она была из той породы людей, которые считают, что если им плохо, то всем остальным должно быть еще хуже, иначе где же справедливость? Клавдия Петровна ненавидела Анастасию. Не за политику — в политике Клавдия Петровна разбиралась так же, как свинья в апельсинах, — а за то, что Анастасия была красива, талантлива и, несмотря на горе, имела внутренний стержень. Клавдия Петровна же имела только телевизор и варикоз.

Первый донос родился легко, как вдох. Анастасия сделала репост в социальной сети — картинку с голубем мира. Клавдия Петровна, бдительно мониторившая страницы соседей в перерывах между просмотром ток-шоу о том, как Европа замерзает без русского газа, увидела это. Её пальцы, привыкшие к чистке картошки, с удивительной прытью набрали текст на сайте ведомства.

«Прошу принять меры. Гражданка Н. распространяет враждебную пропаганду, позорит честь наших ребят...»

Клавдия Петровна чувствовала себя героиней. Она не просто настучала — она защитила Родину. Она представляла, как где-то в Москве генерал читает её донос и скупой мужской слезой благодарит простую русскую женщину за бдительность.

К Анастасии пришел следователь. Молодой, с пустыми глазами и дорогими часами, явно не соответствующими зарплате лейтенанта. Он говорил лениво, растягивая слова, словно делал одолжение.

— Вы, гражданочка, с огнем играете. Дискредитация — статья серьезная. У вас дети, муж... ах да, муж пропал. Ну вот, тем более. Сидели бы тихо, носки вязали. Зачем вам этот пацифизм? Время сейчас военное, надо спланиваться, а не голубей постить.

Он угрожал делом, штрафами, опекой. Думал напугать. Но Анастасия, потерявшая мужа, потеряла и страх. Угрозы следователя подействовали на неё как бензин на тлеющие угли.

— Вы забрали у меня мужа, — сказала она ему в лицо, и голос её звенел, как натянутая струна. — Вы хотите забрать у меня совесть? Не выйдет.

Дело тогда замяли — не было состава преступления, да и возиться не хотелось. Но Анастасия поняла: молчать нельзя. Она вернулась на улицу к универмагу. Теперь она пела песни тех, кого государство объявило «иностранными агентами». Песни Гребенщикова, Земфиры. Люди останавливались. Кто-то плакал, кто-то торопливо бросал мелочь и убегал, пряча глаза, кто-то снимал на телефон.

Именно телефон стал приговором. Видео, где Анастасия поет «Не стреляй», разлетелось по местным пабликам. Комментарии разделились: одни писали «Спасибо за правду», другие — «Предательница, отправить её на фронт!».

Клавдия Петровна, увидев видео, испытала прилив священного экстаза. На этот раз она не стала мелочиться с сайтом. Она пошла лично на прием к депутату районного собрания, господину Прыщу.

Виталий Венедиктович Прыщ был человеком амбициозным. Он мечтал о кресле в областной думе, а для этого нужны были показатели. Борьба с ямами на дорогах и ремонт труб не приносила политических очков — это была грязная, неблагодарная работа. А вот борьба с «внутренним врагом» — это было модно, современно и перспективно.

Когда Клавдия Петровна, брызгая слюной, изложила суть дела, Прыщ понял: это его шанс.

— Не место таким предателям на свободе! — провозгласил он на планерке, стукнув кулаком по столу так, что подпрыгнул графин с водой. — У нас ребята кровь проливают, а она тут концерты устраивает! Враг не дремлет! Мы должны показать пример! Наказать показательно, чтобы другим неповадно было!

Машина завертелась с ужасающей скоростью. Уголовное дело возбудили за три дня. Статья — «Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных Сил». Следовательно, тот самый, с пустыми глазами, теперь работал с огоньком — дело было на контроле у самого Прыща.

Суд был похож на фарс в провинциальном театре. Судья, женщина с высокой прической, напоминающей гнездо встревоженной цапли, даже не смотрела на Анастасию. Она перебирала бумаги, скучала и думала о том, что надо успеть в магазин до закрытия. Прокурор читал обвинение так, словно зачитывал меню в столовой: монотонно и без выражения.

— ...действуя по мотивам политической ненависти... подрывая авторитет... осознавая общественную опасность...

Анастасия стояла в клетке — хрупкая, бледная, с гордо поднятой головой. Она не плакала. Она смотрела на судью, на прокурора, на Прыща, сидевшего в первом ряду с видом победителя, и в её взгляде было столько жалости к этим людям, что Прыщу стало неудобно. Он поерзал на стуле и ослабил галстук.

— Семь лет колонии общего режима, — выплюнула судья приговор и стукнула молотком.

Семь лет. За песни. За правду. За боль.

В зале повисла тишина. Только Клавдия Петровна, сидевшая на галерке, удовлетворенно выдохнула. Справедливость, в её понимании, восторжествовала. Враг повержен. Теперь можно спокойно идти домой и смотреть сериал про ментов.

А потом начался ад для детей.

Артем и София остались с бабушкой. Вероника Михайловна постарела за одну ночь на десять лет. Её пенсия, которой едва хватало на лекарства и коммуналку, теперь должна была кормить троих. Но страшнее голода было другое.

Школа, это место, которое должно сеять разумное, доброе, вечное, превратилась в филиал инквизиции. Директор школы, дама с партийным билетом в сердце вместо совести, собрала педсовет.

— Мы не можем допустить, чтобы дети преступницы влияли на здоровый коллектив, — вещала она. — Нужно провести разъяснительную работу.

И работу провели. Учительница Артема, Марья Ивановна (не та вдова, которой Василий чинил крышу, а другая — заслуженный педагог с холодными рыбьими глазами), на классном часе подняла мальчика и сказала:

— Дети, посмотрите на Артема. Его мама предала нашу Родину. Она помогала врагам. Артем, тебе стыдно за маму?

Артем стоял, красный как рак, сжимая кулаки так, что побелели костяшки. Ему было десять лет. Он любил маму. Он знал, что мама добрая, что она пела красивые песни. Он не понимал, почему «Родина» — это тетя с указкой, которая заставляет его предавать самого родного человека.

— Нет, — тихо сказал он.

— Что? — переспросила учительница, не веря своим ушам.

— Нет! — крикнул Артем и выбежал из класса.

Вслед ему несли смех. Дети смеялись не потому, что были злыми. Они смеялись, потому что им разрешили. Им дали команду «фас», и они, маленькие зеркала взрослого мира, с радостью отразили уродство своих родителей.

Софии было сложнее. Она была старше, она всё понимала. Одноклассницы перестали с ней здороваться. На её парте кто-то нацарапал маркером «Дочь врага». В раздевалке ей подкинули в карман куртки дохлую крысу. София не плакала в школе. Она приходила домой, запиралась в ванной, включала воду и выла в полотенце, чтобы не слышала бабушка.

Отец Василий сидел на кухне у Вероники Михайловны. На столе остывал чай. Артем сидел рядом, разбирая старый будильник — единственное, что осталось от отцовских предметов.

— Дядя Вася, — спросил мальчик, не поднимая головы. — А папа вернется?

Василий замер. Что сказать ребенку? Правду? Что папа, скорее всего, лежит где-то в безымянной посадке, присыпанный землей, и над ним растут лопухи? Или солгать? Сказать, что папа герой, что он выполняет важное задание?

— Мы будем молиться, Артемка, — уклончиво ответил Василий. — Бог милостив.

— А мама? — продолжил Артем. — Бабушка говорит, она в тюрьме. Там плохо? Её там бьют?

У Василия сжалось сердце. Он представил Анастасию — тонкую, интеллигентную женщину — в бараке, среди уголовниц, в робе, с биркой на груди.

— Мама сильная, — твердо сказал он. — Она справится. Мы будем ей писать. И посылки собирать будем.

— А почему её забрали? — не унимался ребенок. — Она же ничего плохого не сделала. Она просто пела. Разве петь — это преступление?

Василий посмотрел в окно. За стеклом серел унылый день. По улице шла Клавдия Петровна с авоськой, довольная и важная. Она шла по земле, которую очистила от «скверны», и чувствовала себя хозяйкой жизни.

— В нашем мире, Артем, иногда правда становится преступлением, — тихо сказал священник. — Но это не значит, что правда перестает быть правдой. Просто сейчас время кривых зеркал. Всё перевернуто. То, что белое — называют черным. То, что доброе — называют злым.

— А когда это кончится? — спросила София, стоявшая в дверях. Она была бледная, с темными кругами под глазами.

— Не знаю, Соня. Не знаю. Но ночь темнее всего перед рассветом.

Василий понимал, что это просто красивые слова. Рассвета не было видно. Была только полярная ночь, которая накрыла страну плотным колпаком.

Он вспомнил, как вчера встретил Прыща. Депутат выходил из своей иномарки, сияющий, в новом костюме. Он заметил священника и помахал рукой.

— А, отец Василий! Как служба? Молимся за победу?

Василий тогда промолчал. Он посмотрел на Прыща и подумал о том, что этот человек, наверное, тоже считает себя христианином. Наверняка ставит свечи, красит яйца на Пасху. Как уживается в одной голове Евангелие и донос на мать двоих детей? Как можно целовать крест и одновременно подписывать приговоры невиновным?

Это была тайна, которую Василий не мог разгадать. Тайна русской души, способной на величайшее самопожертвование и на величайшую подлость одновременно.

Вечером, уходя от Вероники Михайловны, Василий задержался у калитки. Артем вышел его проводить.

— Дядя Вася, — мальчик дернул его за рукав рясы. — Я вот что подумал. Если папа строил мосты, а его забрали на войну... Значит, мосты никому не нужны? Значит, нужно только ломать?

Василий присел на корточки перед ребенком.

— Нужны, Артем. Очень нужны. Просто сейчас пришли люди, которые умеют только ломать. Но все может измениться. Ломать долго нельзя — устанешь. А строить — это навсегда. Ты вырастешь и будешь строить. Как папа.

— Я не буду инженером, — серьезно сказал Артем. — Я буду судьей.

— Судьей? — удивился Василий.

— Да. Я вырасту, стану судьей и выпущу маму. И всех выпущу, кого просто так посадили. А ту тетю, которая маму посадила, я в тюрьму не посажу.

— Почему?

— Потому что в тюрьме плохо. Я её заставлю песни учить. Мамины песни. Пусть поет, пока не поймет.

Василий обнял мальчика. В горле стоял ком. Он шел к своей машине, старой «Ниве», и думал о том, что этот десятилетний мальчик, сын «предателей», оказался большим христианином, чем весь синод, все депутаты и все «бдительные» соседи вместе взятые.

Он сел за руль, но не сразу завел мотор. Достал из бардачка листок бумаги. Это было письмо от Анастасии, которое чудом передали из СИЗО перед этапом.

«Отец Василий, — писала она неровным почерком. — Берегите детей. Не давайте им озлобиться. Я здесь держусь. Тут много хороших людей. Странно, правда? В тюрьме хороших людей больше, чем на воле. Может быть, потому что здесь маски уже не нужны? Здесь все голые перед бедой. Я пою им по вечерам, шепотом. Они плачут. И я плачу. Но это светлые слезы. Я верю, что этот морок спадет. Не может ложь жить вечно. Она съест сама себя. Обнимите за меня маму и моих крошек. Скажите им, что я их люблю больше жизни. И скажите Артему, чтобы не бросал музыку. У него слух хороший, как у отца...»

Василий аккуратно свернул письмо и спрятал его во внутренний карман, поближе к сердцу. Это был документ эпохи. Страшнее и правдивее любых летописей.

Он завел машину. Фары выхватили из темноты кусок грязной дороги и покосившийся забор, на котором кто-то размашисто, красной краской написал букву Z. Василий вздохнул, перекрестился и поехал сквозь тьму подальше от села, увозя в своем сердце боль чужих детей, которая стала его собственной. А где-то в доме за его спиной маленькая София достала скрипку, которую мать запретила продавать даже в самый черный день, и провела смычком по струнам. Звук был тихим, неуверенным, но он был. Музыка на пепелище продолжала звучать, вопреки всему.

Глава 3: Три грации в рясах

Епархиальное управление встретило отца Василия запахом дорогого паркета, ладана «экстра-класса» и той особенной, почти осязаемой тишиной, которая обычно царит в приемных больших начальников и в отделениях реанимации.

Василий приехал в город по вызову благочинного — нужно было сдать квартальный отчет. Бумажная волокита была той самой десятиной, которую современная церковь требовала не от прихожан, а от своих пастырей. Бог, как выяснилось, нуждался не столько в молитвах, сколько в таблицах Excel и правильно заполненных ведомостях о расходе свечей.

В приемной, на кожаном диване, стоимость которого могла бы покрыть ремонт крыши в храме Василия и еще осталось бы на дрова для половины села, восседал отец Никодим.

Никодим был фигурой колоритной, словно сошедшей со страниц сатирического памфлета, который вдруг ожил и решил сделать карьеру. Ему было сорок, но выглядел он на все пятьдесят — солидность распирала его изнутри, как дрожжевое тесто кадку. Ряса на нем была пошита из лучшего греческого шелка, крест с украшениями лежал на животе, как на бархатной подушке, а в руках он вертел последнюю модель смартфона, периодически тыкая в экран пухлым, ухоженным пальцем с перстнем.

— А, отец Василий! — прогудел Никодим, не отрываясь от экрана. — Спаси Господи. Всё с отчетами возишься?

— Вожусь, отче, — тихо ответил Василий, присаживаясь на край стула. — Приход маленький, но бумаг требуют, как с лавры.

— Оптимизация, брат, оптимизация, — наставительно произнес Никодим, наконец соизволив поднять глаза. Взгляд у него был цепкий, оценивающий, как у опытного товароведа на овощебазе. — Церковь — это организм. А организму нужен учет и контроль. Ты вот всё по старинке, небось, с бабушками чаи гоняешь, утешаешь? А надо работать с ресурсом.

— Люди — не ресурс, отец Никодим, — возразил Василий, чувствуя, как внутри поднимается привычная волна глухого раздражения. — Люди — это паства. Живые души.

Никодим хохотнул, и его живот заколыхался под шелком.

— Души, души... Душа, брат Василий, субстанция эфирная, а кушать хочется материально. Вот ты крышу вдове починил? Слышал, слышал. Герой. А кто за это заплатит? Епархиальный взнос ты чем платить будешь? Благодатью?

Никодим был антиподом всего, во что верил Василий. Это был священник новой формации — эффективный менеджер в рясе. Для него служение было карьерной лестницей, где каждая ступенька измерялась не духовным ростом, а близостью к архиерейскому телу и толщиной конверта. Он был патриотом — о, да! Но его патриотизм был особого свойства. Он любил Родину так, как мясник любит упитанного бычка: с профессиональным интересом и предвкушением навару.

— Кстати, — Никодим понизил голос и наклонился к Василию. — Ты бы поаккуратнее там, в своем захолустье. Слухи ходят.

— Какие слухи?

— Разные. Что молитвы ты читаешь без должного... энтузиазма. Что с народом беседы ведешь странные. Не в русле, так сказать, текущего момента.

Василий напрягся.

— Я Евангелие читаю, отец Никодим. Оно уже две тысячи лет не меняется.

— Евангелие — это фундамент, — снисходительно пояснил Никодим. — А мы живем в надстройке. И сейчас время такое... консолидации. Враг не дремлет. А ты, говорят, пацифизмом балуешься. Смотри, брат. У меня вот папочка есть... — он похлопал по своему портфелю из крокодиловой кожи. — Я туда всё складываю. Для

истории. Кто что сказал, кто как посмотрел. Не для себя стараюсь — для чистоты рядов.

Василий посмотрел на портфель. Там, внутри, лежали не молитвенники, а доносы. Маленькие, аккуратные кирпичики, из которых Никодим строил свою Вавилонскую башню благополучия. Он собирал компромат на всех: на дьяконов, на собратьев-священников, даже на благочинного. Это была его страховка, его валюта. В мире, где все боялись всех, тот, кто владел информацией, владел ситуацией.

В этот момент дверь кабинета открылась, и секретарь пригласил Никодима. Тот мгновенно преобразился. С лица исчезло выражение сытого кота, появилась елеинная улыбка, спина согнулась в почтительном поклоне еще до того, как он переступил порог.

— Иду, иду! Благословите, владыко! — пропел он, исчезая в кабинете.

Василий остался один. Ему стало физически душно. Хотелось открыть окно, но окна здесь были наглухо запечатаны стеклопакетами, чтобы ни один звук с грешной улицы не нарушал покоя духовных администраторов. Он вспомнил случай, о котором гудела вся епархия. Месяц назад к Никодиму пришла женщина, просила отпеть сына, погибшего в пьяной драке. Денег у нее не было. Никодим, говорят, вышел к ней, поправил крест и сказал: «Церковь, матушка, не собес. У нас расходы: свет, отопление, облачение. Бог милостив, но и вы совесть имейте. Нет денег — молитесь келейно». И закрыл перед ней дверь своего новенького джипа. А потом на проповеди полчаса распинался о милосердии самарянина, да так складно, что старушки плакали и несли последние копейки на «украшение храма».

Сдав отчет (благочинный даже не взглянул на цифры, только спросил, почему взнос меньше, чем у соседа), Василий вылетел из управления, как пробка из бутылки. Он сел в свою «Ниву», руки дрожали. Ему нужно было выговориться. Ему нужен был воздух.

И он знал, где этот воздух найти.

Путь лежал на окраину города, в старый частный сектор, который застройщики еще не успели снести ради очередных человеииков. Там, в деревянном доме, утопающем в зарослях сирени и вишни, жил отец Игнатий.

Игнатий был легендой и изгоем одновременно. Ему было за шестьдесят, он помнил еще советских уполномоченных по делам религии, и его отношение к

любой власти — светской или церковной — было пропитано глубоким, философским скепсисом. Его не любили в епархии за острый язык и энциклопедические знания, которыми он, как скальпелем, вскрывал любые нарывы официальной демагогии. Его терпели только потому, что он был монахом-аскетом, взять с него было нечего, а отправлять в запрет было себе дороже — народ к нему тянулся.

Дом Игнатия был похож на библиотеку, в которой случайно поставили кровать и иконы. Книги были везде: на полках, на столе, на полу, на подоконниках. Здесь пахло старой бумагой, воском и дешевым табаком — Игнатий курил трубку, утверждая, что это помогает ему разгонять бесов уныния.

— А, Василий! — Игнатий встретил его на пороге, в старом подряснике, с книгой в руке. Его борода, седая и всклокоченная, напоминала куст перекати-поля. — Заходи, заходи. Чайник только вскипел. Вид у тебя, брат, будто ты черта видел.

— Хуже, отче, — выдохнул Василий, проходя в комнату. — Никодима видел.

Игнатий рассмеялся. Смех у него был сухой, трескучий, но добрый.

— Ну, Никодим — это не черт. Это мелкий бес на зарплате. Администратор преисподней среднего звена. Садись.

Они сели за стол, заваленный рукописями и книгами. Игнатий разлил чай с травами, которые сам собирал летом.

— Знаешь, Василий, — начал Игнатий, раскуривая трубку. — Я вот перечитывал тут историю Флорентийского собора. Удивительно, как люди любят наступать на одни и те же грабли, только каждый раз украшают их новыми ленточками.

— Он мне угрожал, — сказал Василий, глядя в чашку. — Сказал, что собирает папку. Что я не в «русле».

— Папку... — Игнатий выпустил облако дыма. — У них у всех папки. Это их Евангелие. Евангелие от Иуды. Знаешь, в чем трагедия нашего времени? Не в том, что есть Никодимы. Они были всегда. При царях, при генсеках, при демократах. Трагедия в том, что они теперь — норма. Они — лицо. А мы с тобой — прыщи на этом лице, которые они мечтают выдавить.

Василий встал и прошелся по комнате. Его взгляд упал на корешок книги — Бердяев, «Философия свободы».

— Почему так, отче? — спросил он с горечью. — Почему Христос изгнан? Я сегодня слушал его... Он говорит о «ресурсе», о «надстройке». Там нет Бога. Там есть корпорация. ЗАО «РПЦ».

Игнатий отложил трубку и посмотрел на Василия серьезно. Его глаза, обычно смешливые, стали колючими.

— А ты думал, Василий, что будет легко? Ты думал, надел рясу — и сразу в дамки, в Царствие Небесное? Нет, брат. Церковь земная — это поле битвы. И сейчас враг не снаружи. Не безбожники с маузерами, не комсомольцы. Враг внутри. Он надел парчовые ризы, отрастил бороду и научился говорить «Спаси Господи» с правильной интонацией.

Игнатий встал, подошел к полке и достал тонкую папку с распечатками.

— Вот, почитай на досуге. Это про отца Глеба Якунина. Помнишь такого?

Василий кивнул. Имя это произносили в семинарии шепотом, как имя еретика, хотя никто толком не мог объяснить, в чем его ересь.

— Он еще в шестьдесят пятом писал открытые письма. О том, что Церковь больна. Что она легла под власть, что епископы назначаются по звонку из КГБ. И что сделали? Запретили. А потом, в девяностых, когда вроде бы свобода пришла, его отлучили. Знаешь за что? За то, что он требовал покаяния. Не того покаяния, когда бабка кается, что колбасу в пост съела. А покаяния Церкви как института. За сотрудничество с палачами, за доносы, за молчание, когда убивали невинных.

Игнатий открыл папку и зачитал:

— «Истинное возрождение — это не статистические отчеты о переданных государством храмах и монастырях, не количество освящённых офисов и не демонстративное стояние государственной номенклатуры со свечкой в руках. Истинное возрождение — это духовное самосознание общества...»

Он захлопнул папку.

— Слышишь? Статистические отчеты! Это то, что ты сегодня сдавал. Они подменили Дух цифрой. Они построили золотые купола, но забыли, что под куполом должна быть совесть. А совесть, Василий, штука неудобная. Она мешает дружить с губернатором, она мешает освящать ракеты, она мешает брать деньги за молитву. Поэтому они объявили совесть ересью. А тех, у кого она осталась — врагами церкви.

Василий слушал, и каждое слово падало в его душу тяжелым камнем. Он понимал, что Игнатий прав. Но от этой правоты становилось страшно.

— И что нам делать? — спросил он. — Уйти? Снять сан?

— Уйти — самое простое, — усмехнулся Игнатий. — Сбежать в кусты. Нет, брат. Мы должны быть здесь. Пока нас не вышвырнут. Мы — соль. Если соль теряет силу, что сделает пищу соленой? Мы должны свидетельствовать. Даже если нас двое. Даже если один.

— Но Никодим... Он же не остановится.

— Конечно, не остановится. Он — функция. Шестеренка. Он будет крутиться, пока механизм работает. Он собирает компромат, потому что сам боится. Ты думаешь, он счастлив? Посмотри на него. Он же в аду живет. Ему нужно постоянно доказывать свою лояльность, постоянно жрать других, чтобы не сожрали его. Это страшная жизнь, Василий. Жизнь насекомого.

Игнатий снова набил трубку. В комнате повисла тишина, нарушаемая только тиканьем старых ходиков на стене.

— Знаешь, — вдруг сказал Игнатий, меняя тон. — Я тут нашел у Лескова замечательную фразу. «Россия крещена, но не просвещена». Вот корень. Мы надели кресты, но не пустили Христа в сердце. Мы сделали из православия идеологию, дубину, которой можно бить несогласных. «Русский мир», «Святая Русь»... Красивые слова. А копни — там ненависть. Там желание, чтобы нас все боялись. Это не от Бога, Василий. Бог есть любовь, а не страх. А у нас сейчас культ страха. И Никодим — его жрец.

Василий вспомнил глаза вдовы Марьи Ивановны, которой он чинил крышу. В них не было страха, только усталость и благодарность. Вспомнил Артема, сына «предателя», который хотел стать справедливым судьей.

— А люди? — спросил он. — Простые люди. Они же верят. Они идут в храм.

— Идут, — кивнул Игнатий. — Идут за чудом. За утешением. И наша задача — дать им это утешение. Не врать им. Не говорить, что война — это мир, а ненависть — это добродетель. Мы должны быть партизанами, Василий. Духовными партизанами в тылу врага. Врага, который захватил амвоны и кафедры.

Они просидели до рассвета. Говорили о Достоевском, о «Легенде о Великом Инквизиторе». Игнатий доказывал, что Никодим и есть тот самый Инквизитор,

который говорит Христу: «Зачем Ты пришел нам мешать? Мы всё устроили, мы дали людям хлеб и чудо, а Ты хочешь свободы. Свобода им не нужна, она для них непосильна».

— Они боятся свободы, Василий, — говорил Игнатий, расхаживая по комнате с потухшей трубкой. — Потому что свобода предполагает ответственность. А они хотят быть рабами. Рабами начальника, рабами царя, рабами системы. Рабу жить проще. Ему сказали «фас» — он лает. Сказали «к ноге» — он лижет сапог. А свободный человек задает вопросы. «Зачем?», «Почему?», «По какому праву?». Вот ты задаешь вопросы. И я задаю. Поэтому мы для них опасны. Опаснее террористов. Террорист взрывает тело, а мы взрываем их ложь.

Когда Василий уезжал, небо на востоке уже серело. Город спал тревожным сном. Мимо проехала патрульная машина, сверкнув мигалкой.

Василий ехал по пустым улицам и думал о том, что они с Игнатием — как два последних солдата в крепости, которую уже сдали генералы. Крепость пала, флаги спущены, ворота открыты врагу, а они сидят в подвале и держат оборону, вооруженные только книгами и совестью.

Он вспомнил лицо Никодима. Гладкое, сытое, уверенное. Лицо победителя. Никодим знал правила игры. Он знал, кому занести, кому улыбнуться, на кого настучать. Он был идеальным винтиком машины.

А Василий? Кто он? Песчинка, попавшая в шестеренки?

Вдруг он вспомнил историю, которую рассказал Игнатий под утро. Про одного священника в тридцатые годы. Когда за ним пришли, он попросил разрешения надеть епитрахиль. Чекисты смеялись, но разрешили. Он вышел к «воронку» в облачении и благословил своих палачей. Сказал: «Прости им, Господи, ибо не ведают, что творят».

— Ведают они, Василий, — сказал тогда Игнатий. — Нынешние — ведают. У тех, в тридцатые, была вера. Страшная, сатанинская, но вера в светлое будущее, в коммунизм. А у этих веры нет. У них только жажда власти и денег. Они циники. И это страшнее. Циника нельзя переубедить, его нельзя обратить. Он мертв душой еще при жизни.

Подъезжая к своему селу, Василий увидел, как над полями поднимается солнце. Оно было красным, словно воспаленным. Туман стелился по низинам, скрывая убогость покосившихся заборов.

Он остановил машину на холме, перед спуском в село. Внизу виднелся его храм. Купола блестели, но этот блеск теперь казался ему холодным, металлическим.

В кармане завибрировал телефон. Пришло сообщение в мессенджере. От Игнатия.

«Брат, будь осторожен. Мне сейчас звонил знакомый из епархии. Никодим интересовался твоим личным делом. И спрашивал, нет ли у тебя родственников за границей. Похоже, сезон охоты открывается раньше времени».

Василий сжал телефон в руке. Сезон охоты. Красивая метафора. Только дичью в этой охоте были не звери, а люди.

Он посмотрел на храм, потом на небо.

— Ну что ж, — сказал он вслух. — Поохотимся.

Он включил передачу и начал спускаться в село, навстречу новому дню, который не обещал ничего хорошего, кроме возможности остаться человеком.

А в это время в своем кабинете отец Никодим, уже переодевшись в гражданский костюм от Brioni (в рясе в машине неудобно), аккуратно вкладывал в папку с надписью «Нижние Котлы» новый листок. На листке было написано: «Рапорт. Довожу до вашего сведения, что иерей Василий замечен в регулярных контактах с запрещенным в служении монахом Игнатием, известным своими либеральными взглядами и критикой священноначалия. Также имеются сведения о чтении ими неправославной литературы и ведении бесед, подрывающих доверие к государственной власти...»

Никодим перечитал текст, удовлетворенно хмыкнул и поставил размашистую подпись. Он не чувствовал себя Иудой. Он чувствовал себя санитаром леса. Лес нужно чистить от больных деревьев, чтобы здоровые могли расти прямо и стройно, превращаясь в качественную древесину для нужд великой империи.

Он закрыл папку, погасил свет и вышел. В темноте кабинета остался только слабый запах дорогого парфюма и едва уловимый душок серы, который, впрочем, мог быть просто запахом старой канализации, которую в епархии никак не могли

починить из-за нехватки средств, ушедших на банкет по случаю дня ангела владыки.

Три грации в рясах — Василий, Игнатий и Никодим — начали свой танец. Танец на краю пропасти, где музыка с каждым тактом становилась всё громче и безумнее. И никто из них еще не знал, кто дотанцует до конца, а кто сорвется вниз, подхваченный вихрем истории, которая, как известно, ничему не учит, а только жестоко наказывает за невыученные уроки.

Василий подъехал к своему дому. У калитки сидел рыжий кот, которого он подкармливал. Кот мяукнул, требуя завтрака.

— Сейчас, рыжий, сейчас, — пробормотал Василий. — Война войной, а завтрак по расписанию.

Он вошел в дом, где на столе лежала открытая книга Франкла, и почувствовал, что этот дом — его крепость. Пока еще его. И пока здесь есть книги, кот и совесть, он не сдастся. Даже если против него вся королевская рать во главе с отцом Никодимом и его папкой из крокодиловой кожи.

День начинался. Обычный день в стране, где абсурд стал бытом, а правда — экстремизмом.

Глава 4: Исповедь стукача

В храме Святого Николая Чудотворца пахло ладаном, дешевым воском и застарелым человеческим страхом. Этот особый, кислый запах, который не перебить никакими благовониями, отец Василий научился различать безошибочно. Так пахнет не раскаяние, так пахнет желание спрятаться.

Субботняя вечерняя служба подходила к концу. Хор, состоящий из трех бабушек и одной регентши с голосом, закаленным в боях за место в автобусе, тянул «Свете тихий». Василий стоял у аналоя, готовясь к исповеди. Епитрахиль давила на шею, словно ярмо. В последнее время он физически ощущал тяжесть этого куска парчи. Раньше это было иго благое, теперь — свидетельское показание.

Очередь на исповедь выстроилась длинная, темная, похожая на гусеницу, ползущую к единственному источнику света в сумеречном храме. Василий смотрел на эти спины — согбенные, прямые, в дорогих пальто и в заношенных куртках — и думал о том, что исповедь в России двадцать первого века превратилась в странный гибрид психотерапии, магического ритуала и допроса с пристрастием, который человек устраивает сам себе, но почему-то требует присутствия понятого в рясе.

Первой подошла Агриппина Кузьминична, вечная прихожанка, чья вера была тверже гранита и столь же безжизненна. Она плюхнулась на колени с таким грохотом, будто хотела проломить пол и достать до преисподней, чтобы лично плюнуть в чертей.

— Грешна, батюшка, ох грешна! — зашептала она, обдавая Василия запахом корвалола и чеснока. — В пятницу, прости Господи, оскоромилась. Колбасы докторской съела. Кусок-то небольшой, а бес попутал. Лежит она, проклятая, в холодильнике, розовая такая, и манит. Ну, я и не сдержалась. А потом всю ночь мучилась, живот крутило. Это мне наказание, да?

Василий вздохнул. За окнами храма, в большом мире, люди убивали друг друга тысячами. Ракеты, освященные его коллегами по цеху, падали на жилые дома. Матери получали похоронки. А здесь, в полумраке, главной трагедией вселенной был кусок вареной колбасы, съеденный не в тот день.

— Агриппина Кузьминична, — тихо спросил Василий, глядя поверх ее головы на распятие. — А с соседкой вы помирились? С той, которой на прошлой неделе смерти желали из-за межи на огороде?

Старушка замерла, потом подняла на него глаза, полные искреннего недоумения.

— Так ведь она, батюшка, ведьма! Она ж у меня три метра земли оттяпала! Как с такой мириться? Ее Бог наказать должен, а не я мириться. Я вот свечку поставила Николаю Угоднику, чтоб он ее вразумил. А колбаса — это да, это грех. Чревоугодие.

Василий накрыл ее голову епитрахилью, прочитал разрешительную молитву, чувствуя себя мошенником. Он отпускал ей грех колбасы, оставляя нетронутым грех ненависти, который она даже не считала таковым. Для нее, как и для миллионов других, православие превратилось в набор пищевых запретов и магических оберегов. Бог был для нее чем-то вроде строгого председателя колхоза:

главное — не воровать сено в открытую и соблюдать устав, а то, что ты соседа вилами готов проткнуть — это дело житейское, производственное.

Следом подошел мужчина лет пятидесяти, плотный, с лицом, на котором читалась печать хронической озабоченности курсом доллара и состоянием простаты. Это был Валерий Петрович, мелкий чиновник из районной администрации. Он исповедовался редко, но обстоятельно, словно зачитывал годовой отчет.

— Согрешил гневом, — бубнил он, глядя в пол. — На подчиненных орал. Ну, тупые они, батюшка, сил нет. Сказано же: подготовить списки на митинг, а они фамилии перепутали. Пришлось самому переделывать. Еще завистью грешил. У Сидорова, зама моего, новый «Крузак». Откуда? Мы ж на одной должности. Значит, берет больше. А я, как дурак, честный. Обидно.

— А еще? — спросил Василий, надеясь услышать хоть что-то живое.

— Ну... жену обманул. Сказал, что на совещании, а сам с мужиками в баню. Пиво пили. В пост.

— Валерий Петрович, — Василий наклонился к нему. — А война вас не беспокоит? То, что происходит сейчас... кровь, смерти?

Чиновник дернулся, как от удара током. Оглянулся по сторонам, хотя рядом никого не было.

— Батюшка, вы это... не провоцируйте. Мы люди маленькие. Начальству виднее. Сказано — надо, значит, надо. Мое дело — списки на митинг подать вовремя. А там — лес рубят, щепки летят. Я ж не убиваю никого лично. Я только бумажки подписываю.

«Щепки», — подумал Василий. — «Живые люди для него — щепки. А он — пила. Или даже не пила, а смазка для пилы. И он пришел просить, чтобы смазка не высыхала».

Он отпустил грехи и Валерию Петровичу. А что он мог сделать? Канон не давал ему права отказать в исповеди тому, кто формально кается. Но внутри росла пустота. Холодная, звонкая пустота, в которой эхом отдавались слова молитв.

И тут к аналою подошел Никита.

Василий знал его. Студент третьего курса истфака местного пединститута. Высокий, сутулый, с лицом бледным и каким-то стертым, словно его долго терли ластиком, пытаюсь убрать индивидуальные черты, но так и не нарисовали ничего нового. Никита всегда стоял на службе с видом отличника, который боится, что учитель заметит, как он списывает. Он крестился размашисто, правильно, кланялся в пояс, но глаза его при этом бегали, сканируя пространство.

Никита встал на колени. От него пахло потом и дешевым дезодорантом с претенциозным названием «Лидер». Руки его, сцепленные на краю аналая, мелко дрожали.

— Исповедуюсь Господу Богу... — начал он, и голос его сорвался на фальцет. Он откашлялся. — Батюшка, мне плохо.

— Что болит, Никита? — спросил Василий, ожидая услышать про очередную болезнь или несчастную любовь.

— Душа болит. Не, не так... Нервы. Сплю плохо. Вздрагиваю. Кажется, что за мной следят. Или что я что-то упустил. Тревожность, короче. Психолог в универе сказала — психосоматика. Сказала, надо совесть очистить.

— И что же тяготит твою совесть?

Никита помолчал, облизнул сухие губы.

— Я... я пишу.

— Что пишешь? Стихи? Прозу?

— Сигналы, — выдохнул Никита. — Докладываю. О неблагонадежных элементах.

Василий почувствовал, как по спине пробежал холодок. Он инстинктивно отстранился, но тут же заставил себя остаться на месте. Перед ним был не просто грешник. Перед ним было явление.

— Доносы? — уточнил Василий, стараясь, чтобы голос звучал ровно.

— Зачем сразу «доносы»? — обиделся Никита. В его голосе прорезались визгливые нотки. — Это слово устаревшее, негативное. Я проявляю гражданскую бдительность. Помогаю очищать общество. Время сейчас сложное, батюшка. Враг хитер. Он маскируется. А я... я вижу.

— И на кого же ты... сигнализируешь?

— На разных. На студентов, которые в курилке болтают лишнее. На преподав. Вот, например, доцент Савельев. Лекции по истории России читает. Вроде все правильно говорит, по учебнику. А интонация! Интонация, батюшка, издевательская. Про Ивана Грозного рассказывает, а сам ухмыляется. Параллели проводит. Тонкие такие, не подкопаешься. Но я-то понял. Я записал. И отправил куда следует.

— И что с доцентом?

— Уволили, — в голосе Никиты прозвучала гордость, смешанная со страхом. — Проверку прислали, нашли нарушения в методичках. Теперь он сторожем работает.

— И тебе от этого... тревожно? — спросил Василий.

— Нет! — горячо возразил Никита. — От этого мне хорошо. Я пользу принес. Я заразу остановил. Тревожно мне от другого. А вдруг я ошибся? Вдруг не всех нашел? Вдруг они... отомстят? И вообще... тяжело это. Ответственность большая. Я как на передовой, только невидимой. Я хочу, чтобы Бог меня укрепил. Чтобы дал сил... дальше работать.

Василий смотрел на склоненную голову студента и видел бездну. Это было страшнее, чем воровство или прелюбодеяние. Никита не считал свои действия грехом. Наоборот, он считал их подвигом. Он пришел не каяться в том, что сломал жизнь человеку. Он пришел жаловаться на то, что работа палача слишком утомительна для его тонкой нервной организации. Он хотел, чтобы священник, именем Христа, выписал ему транквилизатор для совести.

— Никита, — медленно произнес Василий. — Ты понимаешь, что ты сделал? Ты лишил человека хлеба. Ты, возможно, сломал ему судьбу. За «интонацию».

— Так он же враг! — искренне изумился студент. — Батюшка, вы что, телевизор не смотрите? Там же ясно говорят: пятая колонна. Они разрушают нас изнутри. Если мы их не уберем, они нас уничтожат. Это как... как хирургия. Больно, но надо.

— Христос не был хирургом, Никита. Он был целителем. Но Он лечил любовью, а не скальпелем.

— А как же «не мир пришел Я принести, но меч»? — парировал Никита. Он был подкован. Он знал цитаты. Дьявол всегда отлично знает Писание, лучше любого богослова.

— Меч, чтобы отсечь грех в себе, Никита. В себе! А не голову ближнему. Ты заповедь «не лжесвидетельствуй» помнишь?

— Я не лжесвидетельствовал! — Никита начал заводится. — Я правду написал! Он действительно ухмылялся! Это факт!

— А заповедь «возлюби ближнего»?

— Так я и люблю! — Никита поднял голову. Глаза его горели фанатичным блеском. — Я Родину люблю. Народ люблю. А эти... они не народ. Они предатели. Разве можно любить предателей? Их надо сажать и наказывать.

Василий молчал. Он понимал, что логика бессильна. Перед ним был человек с ампутированной эмпатией, которому вставили протез из телевизионных лозунгов. Этот протез работал безупречно, не зная боли и сомнений. Никита был идеальным продуктом системы. Гомункулус, выращенный в пробирке пропаганды.

— Я не могу отпустить тебе этот грех, Никита, — тихо сказал Василий. — Потому что ты не каешься. Ты гордишься им.

Никита замер. Его лицо пошло красными пятнами.

— Как это... не можете? — прошипел он. — Вы обязаны. Я исповедовался. Я сказал, что мне плохо. Вы должны прочесть молитву. Это ваша работа.

— Это не работа, Никита. Это таинство. А таинство требует метанойи. Перемены ума. Ты должен ужаснуться тому, что ты делаешь. Ты должен понять, что писать доносы — это подлость. Иудин грех.

— Иуда предал Христа, — жестко сказал студент, поднимаясь с колен. — А я предателей предаю. Это другое. Вы, отец Василий... странный вы. Я давно замечал. Проповеди у вас... мягкотелые. Пацифистские. Смотрите, батюшка. Не ровен час, и вами заинтересуются. Там, — он ткнул пальцем в потолок, — все видят.

Это была прямая угроза. Здесь, в храме, у Евангелия и Креста, кающийся угрожал священнику доносом за то, что тот отказался благословить подлость.

— Иди, Никита, — устало сказал Василий. — Бог тебе судья.

Никита фыркнул, развернулся и пошел прочь, чеканя шаг. Василий смотрел ему вслед и чувствовал, как дрожат его собственные руки. Он только что заглянул в глаза будущему. И это будущее имело лицо обиженного троечника с полномочиями инквизитора.

Василий хотел уйти в алтарь, отдышаться, выпить воды. Сердце колотилось где-то в горле. Но к аналою уже подходила следующая фигура.

Это была Дарья.

Василий знал ее с детства. Она выросла в этом селе, бегала в воскресную школу, рисовала ангелов цветными мелками на асфальте. Теперь это была высокая, худая девушка с короткой стрижкой и глазами, в которых застыла вечная, недетская боль. Она училась в том же университете, что и Никита.

Дарья не встала на колени. Она просто склонила голову, вцепившись побелевшими пальцами в край анаоя.

— Батюшка, я больше не могу, — прошептала она. Голос ее дрожал, как натянутая струна. — Я схожу с ума.

— Что случилось, Даша?

— Тишина. Эта проклятая тишина. Все молчат. Или врут. В универе — Z-символика на каждом этаже. Ректор начинает каждое собрание с гимна и слов о «священном долге». А ребята... мы же сидим в столовой, смеемся, обсуждаем зачеты. А в это время...

Она замолчала, глотая слезы.

— Я вижу фотографии с регионов, где проходили военные действия... Я вижу мертвых детей. А потом прихожу на пары, и мне говорят про «величие»... Какое величие, батюшка? Если люди убивают друг друга? Я чувствую себя соучастницей.

— Ты не виновата, Даша, — мягко сказал Василий.

— Виновата! Своим молчанием. Я пыталась говорить. Клеила листовки в туалете. Маленькие такие, незаметные. Но мне страшно. Господи, как мне страшно! Я иду по коридору и мне кажется, что все знают. Что они смотрят на меня и думают: «Вот она, враг».

Василий похолодел. Он вспомнил Никиту. «Я вижу... Я записал...». Они были в одном пространстве. Хищник и жертва. И хищник только что был здесь, точил когти о Евангелие.

— Даша, — Василий наклонился к ней почти вплотную. — Ты должна быть очень осторожна. Слышишь? Очень.

— Я знаю. Но я не могу просто сидеть. Я хочу кричать. Я хочу выйти на площадь. Пусть меня заберут. Пусть посадят. Но я хотя бы не буду чувствовать себя грязью.

— Послушай меня, — Василий говорил быстро, шепотом, нарушая все каноны спокойной пастырской беседы. — Твоя жертва должна быть осмысленной. Если ты выйдешь сейчас, тебя просто сожрут. Перемелют и выплюнут. И никто не узнает. Ты нужна здесь. Живая. Свободная.

— Свободная? — она горько усмехнулась. — Мы все в тюрьме, батюшка. Просто у кого-то камера побольше и пайка получше.

— Ненависть разрушает того, кто ненавидит, Даша. Это яд. Не пей его.

— А как не пить? Если он в воздухе? Если он из каждого утюга льется? Я смотрю на наших преподавателей... Они же умные люди. Читали Толстого, Чехова. Как они могут? Как они могут оправдывать убийство?

— Страх, — ответил Василий. — Они боятся потерять комфорт. Боятся признаться себе, что служили злу. Это защитная реакция. Психика прячется за ложью, чтобы не сойти с ума.

— А я? Я схожу с ума?

— Нет. Ты как раз нормальная. Твоя боль — это признак того, что ты жива. В морге не больно. Больно только живым.

Василий мучительно думал. Он знал тайну. Он знал, что Никита пишет доносы. Он знал, что Никита ищет «неблагонадежных» в университете. И он знал, что Дарья — идеальная мишень. Активная, эмоциональная, не умеющая скрывать чувства.

Канон запрещал ему нарушать тайну исповеди. Он не мог сказать: «Никита Иванов с третьего курса написал на тебя донос». Это было бы церковным

преступлением. Но если он промолчит, и Дарью посадят — это будет преступлением перед Богом.

Дилемма разрывала его. Два тысячелетия церковной традиции против одной человеческой жизни. Что важнее? Буква закона или дух любви?

— Даша, — сказал он, тщательно подбирая слова. — В твоём окружении есть люди... разные. Есть те, кто искренне заблуждается. А есть те, кто сделал подлость своей профессией. Кто ищет, на кого бы... указать пальцем. Чтобы выслужиться.

Она подняла на него глаза. В них мелькнуло понимание.

— Вы что-то знаете?

— Я знаю природу человека, — уклонился Василий. — И я знаю, что сейчас время Иуд. Они ходят среди нас. Они могут сидеть с тобой за одной партой. Улыбаться. Просить конспекты. А потом...

Он замолчал, давая ей возможность додумать.

— Будь мудра, как змея, и проста, как голубь. Так сказал Христос. Не мечи бисер перед свиньями, чтобы они не попрали его и, обратившись, не растерзали вас. Это не просто красивые слова, Даша. Это инструкция по выживанию в тоталитарном обществе. Спрячь свои листовки. Пока спрячь. Твоя главная задача сейчас — сохранить себя. Сохранить душу, не дав ей ожесточиться, и сохранить тело, не дав ему сгнить в тюрьме. Ты понимаешь меня?

Дарья кивнула. Слезы высохли на ее щеках.

— Спасибо, батюшка. Я поняла. Я буду... тише.

Василий накрыл ее епитрахилью.

— Господь и Бог наш, Иисус Христос...

Читая молитву, он молился не об отпущении ее грехов — какие у нее грехи? Юношеский максимализм да жажда правды? Он молился о том, чтобы отвезти от нее беду в лице бледного студента Никиты. Он молился о чуде. О том, чтобы система дала сбой и не заметила эту хрупкую девочку.

Когда Дарья ушла, Василий остался у аналоя один. Храм опустел. Бабушки-певчие уже разошлись, погасив свет на клиросе. Горели только лампы у икон, отбрасывая на стены дрожащие тени.

Василий чувствовал себя выпотрошенным. Исповедь, которая должна приносить облегчение, сегодня принесла только ужас. Он увидел срез общества, как под микроскопом.

Вот они, слои русского ада: Первый круг — равнодушные обыватели, вроде Агриппины и Валерия. Их хата с краю, их горизонт — колбаса и забор соседа. Они — питательная среда для зла. Они не делают зло сами, но они удобряют почву своим молчаливым согласием. Второй круг — идейные палачи, вроде Никиты. Новая порода. Они не просто исполняют приказ, они получают удовольствие. Они рационализируют зло, подводят под него философскую базу. Они страшнее, потому что они активны. Они — вирус. И третий круг — жертвы, вроде Дарьи. Те, у кого еще не атрофировалась совесть. Те, кому больно. И они обречены, потому что они в меньшинстве.

Василий снял епитрахиль и аккуратно свернул ее. Ткань была влажной от его дыхания.

Он подошел к иконе Спасителя. Лик Христа в мерцании лампы казался строгим и печальным.

— Ну что, Господи? — спросил Василий вслух. — Как Тебе паства? Один ест колбасу и боится, другой ест людей и гордится. А третья плачет, и ее некому утешить, кроме меня, грешного и трусливого.

Он вспомнил слова Никиты: «Не ровен час, и вами заинтересуются».

Кольцо сжималось. Василий понимал это отчетливо. Никита не остановится. Он почувствовал вкус крови. Он почувствовал власть. Священник, который не благословил его «подвиг», теперь стал для него личным врагом. А врагов Никита привык уничтожать.

Василий вышел из храма на крыльцо. Ночь была темной, беззвездной. Ветер гнал по земле сухие листья, шуршащие, как старые доносы. Где-то вдалеке лаяла собака.

Он достал телефон. Хотел написать Игнатию, но передумал. Что писать? «Встретил антихриста, он учится на истфаке»? Игнатий и так все понимает.

Василий сел в свою старую «Ниву». Мотор завелся с натужным кашлем. Он включил фары, и лучи света выхватили из темноты фигуру, стоящую у церковной ограды.

Это был Никита. Он стоял, прислонившись к кирпичному столбу, и курил. Увидев машину священника, он не отвернулся, не спрятал сигарету. Он смотрел прямо в лобовое стекло, и в свете фар его лицо казалось белой маской. Он медленно поднял руку и сделал жест — то ли помахал на прощание, то ли прицелился из невидимого пистолета.

Василий нажал на газ. Машина рванула с места, оставляя позади храм, пропитанный ложью, и человека, который решил стать богом, чтобы карать.

По дороге домой Василий думал о том, что исповедь сегодня действительно состоялась. Только исповедовались не грешники Богу. Это эпоха исповедовалась в своей полной, окончательной и необратимой потере человеческого облика. И он, отец Василий, был единственным свидетелем, который подписал протокол, не имея права его разглашать.

Дома было тихо. Кот спал на кресле, свернувшись рыжим клубком уюта. На столе лежала открытая книга — Бердяев, «Судьба России». Василий подошел к столу и прочитал подчеркнутую строчку: «Русский народ есть в высшей степени поляризованный народ, он есть совмещение противоположностей».

— Противоположностей, — горько усмехнулся Василий. — Палача и жертвы в одной коммунальной квартире.

Он закрыл книгу. Читать не хотелось. Хотелось вымыть руки. Долго, с мылом, сдирая кожу, чтобы смыть ощущение липкой грязи, оставшееся после рукопожатия с бездной. Но он знал, что эта грязь не смывается. Она теперь внутри.

Василий подошел к окну. В доме напротив, где жила Вероника Михайловна с сиротами, горел свет. Тень маленькой фигурки — наверное, Артема — мелькнула за занавеской.

«Пока я здесь, — подумал Василий, — я буду стоять между ними и Никитой. Сколько смогу. День, неделю, месяц. Я буду тормозом в этой машине смерти».

Это была слабая надежда. Почти безумная. Но другой у него не было.

Он погасил свет, но темнота не принесла покоя. В темноте глаза Никиты светились еще ярче, обещая скорую и неминуемую расправу.

Глава 5: Сезон охоты

Прошло три месяца. Срок ничтожный для вечности, но вполне достаточный для того, чтобы человеческая жизнь превратилась в статистическую погрешность, а страх из холодного сквозняка стал климатом, в котором приходится дышать, спать и пытаться не сойти с ума.

Осень в этом году выдалась не золотой, а какой-то ржавой. Деревья стояли голые, черные, словно обгоревшие спички, воткнутые в раскисшую землю. Небо опустилось так низко, что казалось, купола церкви подпирают его из последних сил, не давая этой свинцовой массе окончательно раздавить село Нижние Котлы.

Отец Василий стоял у окна своего дома и смотрел на улицу. Улица была пуста, если не считать ветра, гоняющего по асфальту обрывки газет с патриотическими заголовками. «Сезон охоты», — подумал он. Это словосочетание пришло ему в голову внезапно и застряло там, как заноза. Раньше охотились на уток. Теперь дичь сменилась. Теперь охотились на слова, на взгляды, на интонации. И лицензии на этот отстрел выдавались не в охотхозяйстве, а в кабинетах с портретами вождей, чьи глаза следили за каждым движением с отеческой, но плотоядной заботой.

События последних недель слились для Василия в один сплошной, тягучий кошмар, напоминающий дурной сон, когда ты бежишь, но ноги вязнут в вате, а за спиной слышится тяжелое дыхание чего-то огромного и безликого.

Всё началось с Дарьи.

То, чего Василий боялся больше всего, стоя у аналога во время той страшной исповеди, свершилось с механической неотвратимостью гильотины. Система не давала сбоев. Она работала с эффективностью, где каждый винтик знал свое место.

Дарью забрали утром, прямо из общежития. Как потом рассказывали очевидцы (шепотом, оглядываясь, словно стены имели уши), за ней пришли трое. Они не представились, не показали документов — в этом не было нужды. Сама их униформа, их уверенные, хозяйские движения говорили громче любых корочек: «Мы — власть. А вы — биомасса».

Поводом стали два анонимных сигнала. Два листка бумаги, напечатанных на принтере, где черным по белому было расписано, как студентка Д. «подрывает устои», «дискредитирует» и «сеет смуту». Василий не видел этих доносов, но он

знал их автора. Он видел этот почерк — не каллиграфический, а почерк маньяка. Почерк человека, который считает подлость гражданским долгом, а предательство — карьерным лифтом. Никита. Студент с бледным лицом и воспаленной совестью, которую он лечил чужой кровью.

Суд над Дарьей был похож на плохой спектакль в провинциальном театре абсурда. Зал был полон, но тишина стояла мертвая. Судья, женщина с лицом, напоминающим застывшую маску скорби по утраченным иллюзиям, читала приговор так, словно зачитывала прогноз погоды: сухо, буднично, без эмоций.

— ...принимая во внимание общественную опасность деяния... руководствуясь статьями... пять лет колонии общего режима.

Пять лет.

Василий сидел в последнем ряду, сжав крест в кармане так, что металл врезался в ладонь до крови. Он смотрел на затылок Дарьи. Она не плакала. Она сидела прямо, неестественно прямо, словно проглотила лом. Ее коротко стриженные волосы казались беззащитными и трогательными на фоне массивной клетки, в которую ее поместили, как опасного зверя.

Пять лет за то, что ей было больно. За то, что она не могла смотреть на смерть и называть ее жизнью. За то, что она была живой среди мертвецов.

Когда ее выводили, она на секунду обернулась. Их взгляды встретились. Василий ожидал увидеть в ее глазах упрек — ведь он знал, он мог предупредить, мог крикнуть, мог нарушить тайну исповеди и спасти ее. Но в ее глазах не было упрека. Там была пустота. Страшная, выжженная пустота человека, который понял, что справедливости в этом зале нет. Она вышла покурить и не вернулась, оставив свое место судье с высокой прической и прокурору с рыбьими глазами.

После суда Василий не мог найти себе места. Он ходил по дому, натываясь на мебель, пил холодный чай, который казался ему горьким, как полынь. Его мучила не просто совесть — его мучило осознание собственного бессилия. Он был пастырем, который не смог защитить овцу от волков. Более того, он видел волка, он говорил с ним, он знал его запах, но позволил ему уйти и сделать свое дело.

«Тайна исповеди», — шептал он в темноту. — «Священная тайна... А жизнь человеческая — не священна? Если канон требует молчать, когда убивают, то от кого этот канон?»

Но удар с Дарьей был только началом. Система, почувствовав вкус свежей крови, вошла в раж. Ей было мало одной жертвы. Ей нужен был масштаб.

Через неделю после приговора Дарье исчез отец Игнатий.

Это произошло тихо, без шума и пыли, как исчезает солнце за тучей. Просто в одно воскресное утро двери его дома оказались незапертыми, а внутри никого не было.

Василий приехал к нему, как только поползли первые слухи. Дом Игнатия встретил его холодом и запустением. Вещи были на своих местах, но дух жизни покинул это жилище. На столе стояла недопитая чашка чая, покрывшаяся пленкой плесени. Раскрытая книга — кажется, Бердяев — лежала на подоконнике, и ветер перелистывал страницы, словно невидимый читатель искал ответ на вопрос, которого там не было.

Игнатий исчез. Растворился.

В епархии шептались. Шепот этот был трусливым. Никто не спрашивал прямо: «Где отец Игнатий?». Спрашивать было опасно. Вопрос мог быть истолкован как сочувствие, а сочувствие нынче приравнивалось к соучастию.

— Говорят, за ним приехали ночью, — шепнул Василию дьякон из кафедрального собора, озираясь по сторонам. — Черная машина без номеров. Как в кино. Или как... тогда.

«Тогда». Это слово висело в воздухе, непроизносимое, но понятное всем. 1937 год. Он вернулся не в кожаных куртках и маузерах, а в дорогих костюмах и цифровых базах данных, но суть осталась прежней. Ночной звонок в дверь, шум мотора во дворе, и человек превращается в воспоминание.

— А может, сам ушел? — предположил другой священник, молодой карьерист с бегающими глазками. — Говорят, на него дело шили. Экстремизм. Он же, знаете, язык за зубами не держал. Критиковал... вертикаль.

Экстремизм. Слово-резинка, слово-дубина. Под него можно было подвести что угодно: от цитаты из Евангелия до косого взгляда на портрет губернатора. Игнатий был идеальной мишенью. Умный, независимый, не боящийся говорить правду. Такие люди в системе координат «нового порядка» были ошибкой, багом, который нужно устранить.

Василий ходил по пустому дому друга и чувствовал, как страх проникает под кожу. Это был не животный страх боли, а экзистенциальный ужас перед абсурдом. Люди исчезали, а мир продолжал жить, как ни в чем не бывало. Автобусы ходили по расписанию, в магазинах продавали хлеб, по телевизору показывали юмористические шоу. Эта нормальность была самым страшным. Она легитимизировала зло, делала его частью быта.

В кабинете Игнатия, на полу, Василий нашел листок бумаги. Видимо, он упал со стола в спешке. Это была распечатка статьи, густо исчерканная пометками Игнатия. Василий поднял ее и прочитал заголовок: «Инквизиция Дворкина и его стремление к всевластию».

Он вчитался в текст, и волосы на затылке зашевелились. Игнатий подчеркнул красным маркером один абзац:

«Подобно опричникам времён Ивана Грозного, которые проводили самую настоящую инквизицию, Дворкин со своими сектантами поступают также: вначале «кусают» — клеветают, дискредитируют и дегуманизируют людей публично в СМИ, грубо нарушая их права и свободы. А затем «выметают всё лишнее из страны», то есть создают условия, вводя в законы антидемократические поправки, благодаря которым множество людей и организаций становятся «нежелательными» и их выдворяют из страны, а оставшихся в стране — признают «экстремистами».»

Василий перечитал это дважды. «Кусают» и «выметают». Вот она, формула. Сначала Дарью «укусили» — доносами, общественным порицанием, ярлыком «предательницы». Дегуманизировали. Превратили из человека в мишень. А потом «вымели» — в колонию, за колючую проволоку, чтобы не мешала строить светлое будущее.

А Игнатий? Его тоже «вымели»? Или он успел увернуться от метлы?

Василий перевернул листок. На полях рукой Игнатия было написано: «История — не учительница, а надзирательница. Она бьет за невыученные уроки. Они думают, что они — новые опричники. Но они забыли финал».

И дальше шла цитата из текста, обведенная жирной рамкой:

«А никто не задумывался, чем это всё закончится? Тем же, чем закончилась история с опричным террором времён Ивана Грозного: в итоге под репрессии попали самые приближённые к царю люди, руководители опричнины. В измене

были обвинены даже любимцы царя... Причём преследованию подвергались их семьи... А после этого последовал новый всплеск казней, где был уничтожен уже тот круг приближённых к царю, который образовался после уничтожения опричной верхушки.»

Василий закрыл глаза. Он представил Никиту. Этого мальчика, который сейчас, наверное, сидит в своей комнате и пишет очередной донос, чувствуя себя вершителем судеб. Понимает ли он, что он — всего лишь расходный материал? Что машина репрессий, которую он так усердно смазывает своей подлостью, не имеет тормозов? Она сожрет сначала «врагов», потом «сомневающих», а потом, когда голод станет невыносимым, она начнет жрать своих создателей.

Никита думает, что он охотник. Но в этой игре нет охотников. Есть только еда. Просто кого-то съедят сегодня, а кого-то — завтра на десерт.

Василий спрятал листок в карман. Это было послание. Последний урок отца Игнатия.

Дни потянулись серой чередой. Василий служил, но службы эти стали пыткой. Он чувствовал, как вокруг него образуется вакуум. Люди, его прихожане, которых он крестил, венчал, исповедовал, начали меняться.

Это происходило незаметно, в мелочах. Раньше, встречая его на улице, они останавливались, улыбались, просили благословения, рассказывали о внуках и урожае. Теперь они ускоряли шаг. Они отводили глаза. Они переходили на другую сторону улицы, словно Василий был прокаженным.

Он стал токсичным. Общение с ним могло бросить тень. А тень в нынешние времена могла стоить работы, премии или спокойствия.

Однажды к нему подошла староста храма, Валентина Петровна. Женщина добрая, но пугливая, как лань.

— Батюшка, — сказала она, теребя фартук и не глядя ему в лицо. — Тут такое дело... Вы бы это... потише проповеди говорили.

— Что значит «потише», Валентина Петровна? — устало спросил Василий. — Я шепотом должен говорить?

— Да нет, не в голосе дело. В смысле... ну, про любовь там, про мир. Не ко времени это сейчас. Люди говорят...

— Кто говорит?

— Ну, люди. Разные. Говорят, что вы не за наших. Что вы смуту вносите. Вон, отец Никодим в соседнем селе — он молодец, он прямо говорит: бей врага, спасай Россию. А вы всё про «не убий». Несовременно это, батюшка. Опасно.

— Евангелие всегда несовременно, Валентина Петровна, — ответил Василий.
— И всегда опасно. Христа ведь тоже распяли за то, что Он был несовременен.

Она вздохнула, махнула рукой и ушла, шаркая ногами. Василий смотрел ей вслед и понимал: она его уже похоронила. В ее глазах он был ходячим мертвецом. Она жалела его, но своей шкурой рисковать не собиралась.

Одиночество стало абсолютным. Даже Артем и София, к которым он продолжал ходить, чувствовали это напряжение. Вероника Михайловна встречала его с тревогой.

— Василий, — говорила она, наливая чай дрожащей рукой. — Ты бы не ходил к нам так часто. За нами следят. Я видела машину у ворот. Тонированную. Не ровен час, и тебя зацепят. Ты и так на карандаше.

— Мне все равно, Вероника Михайловна, — врал он. Ему не было все равно. Ему было страшно до тошноты. Но бросить их он не мог. Это было бы последним предательством, после которого можно было бы снимать крест.

И вот, в один из таких вечеров, когда казалось, что небо окончательно упало на землю, телефон Василия пискнул.

Это был мессенджер. Тот самый, защищенный, который установил ему Игнатий полгода назад, посмеиваясь над своей паранойей. «Паранойя, брат Василий, это признак профессионализма в нашей стране», — говорил он тогда.

Сообщение было коротким. Незнакомый номер. Код страны — не российский.

«Рыбак жив. Улов богатый. Море спокойное, шторма нет. Жду на берегу. Петр».

Василий выронил телефон. Руки затряслись. «Рыбак». «Петр». Это был Игнатий. Жив!

Слезы, горячие и неожиданные, брызнули из глаз. Он жив. Его не убили, не сгноили в подвале. Он вырвался. «Море спокойное» — значит, он в безопасности. За границей.

Василий перечитал сообщение. Радость смешивалась с горечью. Игнатий спасся. Но это означало, что слухи были правдой — за ним действительно приходили. Охота была настоящей. И если дичь ускользнула, охотники будут злы. Они будут искать новую жертву, чтобы оправдать расходы на патроны и бензин.

А кто остался?

Василий подошел к зеркалу. Из мутного стекла на него смотрел мужчина тридцати шести лет, с серым лицом и глазами загнанного зверя.

— Ты следующий, — сказал он своему отражению.

Это не было вопросом. Это была констатация факта. Дарья в тюрьме. Игнатий в бегах. Остался он. Последний из могикан, последний свидетель, который мешает стройной картине всеобщего «одобрямс».

На следующий день Василий поехал в райцентр за свечами. В епархиальном магазине былолюдно. Священники толпились у прилавка, обсуждая новости.

— Слышали про Игнатия? — громко вещал отец Никодим. Он стоял в центре группы, сияя, как начищенный самовар. — Сбежал, крыса! Я всегда говорил — иноагент. Деньги Госдепа отработывал, а как прижало — хвост поджал и деру.

— Да уж, — поддакивал кто-то из молодых. — А ведь прикидывался святошей. Книжки умные читал.

— Вот от книжек все зло! — назидательно поднял палец Никодим. — Читать надо устав и циркуляры. А он — философию разводил. Вот и дофилософствовался. Предатель.

Василий стоял в стороне, стараясь быть незаметным. Но Никодим, обладавший чутьем хищника на жертву, заметил его.

— О, отец Василий! — его голос был сладким, как патока, в которой плавал яд. — А ты чего молчишь? Друг твой сбежал, Родину предал. А ты что скажешь? Осуждаешь?

Все головы повернулись к Василию. Десятки глаз. В них не было интереса. В них было ожидание. Это была проверка. Тест на лояльность. Скажи «осуждаю», плюнь в спину другу — и мы тебя, может быть, простим. Примем в стаю. Дадим доесть кости.

Василий почувствовал, как к горлу подступает ком. Сказать? Спасти себя? Ведь Игнатию уже все равно, он далеко. А ему здесь жить.

Он посмотрел на Никодима. На его сытое, гладкое лицо, на котором не было ни одной морщины сомнения. Вспомнил Дарью в клетке. Вспомнил слова из статьи про опричников.

— Я не судья, отец Никодим, — тихо сказал Василий. — Суд — дело Божье. А отец Игнатий... он искал правду. Может, он ее нашел там, где нас нет.

Повисла тишина. Тяжелая, звенящая. Никодим перестал улыбаться. Его глаза сузились, превратившись в две щелки прицела.

— Правду, говоришь? — процедил он. — Ну-ну. Смотри, Василий. Кто ищет правду не там, где положено, тот находит неприятности. Большие неприятности. У нас длинные руки. И память хорошая.

Он отвернулся, давая понять, что аудиенция окончена. Спины священников сомкнулись, отрезая Василия от круга. Он остался один посреди магазина, окруженный иконами и людьми в рясах, но чувствовал себя так, словно стоит голым на морозе перед расстрельной командой.

Выходя из магазина, он столкнулся в дверях с мужчиной в штатском. Серый костюм, неприметное лицо, цепкий взгляд. Мужчина не посторонился. Он встал прямо перед Василием, преграждая путь.

— Отец Василий? — спросил он. Голос был безликим, как шум ветра.

— Да.

— Гражданин Кропоткин, — поправил мужчина. — Мы за вами наблюдаем. Вы очень неосторожны. Общаетесь с сомнительными элементами. Помогаете семьям преступников. Проповеди ваши... двусмысленные.

— Я священник, — ответил Василий, стараясь, чтобы голос не дрожал. — Мой долг — помогать всем.

— Ваш долг — соблюдать законы Российской Федерации, — жестко перебил мужчина. — И поддерживать курс государства. Церковь отделена от государства, но не от общества. А общество сейчас консолидировано. Кто не с нами — тот против нас.

Он наклонился ближе. От него пахло дорогим одеколоном и холодом.

— Считайте это последним предупреждением. Китайским. Следующий разговор будет в другом месте. И в другом тоне. Подумайте о своем будущем. Оно у вас может быть очень коротким.

Мужчина похлопал Василия по плечу — жест дружеский, но от него веяло могилой — и растворился в толпе.

Василий стоял на крыльце, хватая ртом воздух. Сердце колотилось где-то в горле, как пойманная птица.

«Последнее предупреждение».

Он сел в свою «Ниву». Руки не слушались, ключ не попадал в замок зажигания.

Всё. Охота перешла в финальную стадию. Загонщики вышли на номера. Флажки расставлены. Волки воют, предвкушая пир.

Он ехал домой, не разбирая дороги. В голове крутилась одна мысль: «Что делать?». Бежать? Как Игнатий? Но как же Артем и София? Как же бабушки в приходе, которые еще верят ему? Как же его долг?

Но какой долг может быть у мертвеца? Или у заключенного?

Проезжая мимо дома Вероники Михайловны, он увидел в окне свет. Теплый, желтый свет абажура. Там, за этим окном, дети делали уроки, надеясь на будущее. Будущее, которого их лишили взрослые дяди.

Василий остановил машину. Он не мог зайти. «За нами следят». Он просто смотрел на этот свет, как моряк смотрит на маяк во время шторма.

В кармане снова завибрировал телефон. Еще одно сообщение от «Петра».

«Не жди. Уходи. Шторм идет прямо на тебя. Лодка готова. Решайся».

Василий положил голову на руль. Стекло запотело от его дыхания.

Выбор. Самая страшная вещь на свете. Выбор между совестью и жизнью. Между долгом и свободой.

Он вспомнил статью о Дворкине. Раскручивая государственный репрессивный аппарат... Задумываются ли они про свою судьбу?

Они не задумываются. Они пьяны властью. А трезветь придется ему, Василию. И похмелье будет кровавым.

Он поднял голову. В зеркале заднего вида он увидел фары. Машина стояла метрах в ста позади него. Стояла с выключенным двигателем, но с включенными габаритами. Два красных глаза в темноте.

Слежка.

Они даже не скрывались. Зачем? Страх должен быть наглядным.

Василий включил передачу и медленно тронулся с места. Красные глаза в зеркале моргнули и поплыли следом.

Сезон охоты был открыт. И дичь знала, что у нее нет шансов, если она будет играть по правилам охотников. Единственный шанс — стать не дичью, а чем-то другим. Чем-то, что не вписывается в их пищевую цепочку.

Но как это сделать, Василий пока не знал. Он знал только одно: сегодня ночью он не будет спать. Он будет жечь бумаги. И молиться о том, чтобы остаться человеком в мире, где человечность стала уголовным преступлением.

Ветер за окном усилился, срывая последние листья с деревьев. Зима была близко. Долгая, холодная зима, которая обещала заморозить не только землю, но и души. Но где-то там, далеко, было море, которое не замерзает. И там был рыбак Петр, который ждал на берегу.

Василий посмотрел на иконку Николая Чудотворца на приборной панели.

— Ну что, святителю отче Николае, — прошептал он. — Кажется, нам пора собирать чемоданы. Или готовиться к Голгофе. Третьего не дано.

Машина свернула в переулок, и красные глаза преследователей на секунду исчезли, чтобы тут же появиться вновь, еще ближе, еще злее. Круг замкнулся окончательно. Щелкнул затвор невидимого ружья. Выстрел был вопросом времени.

Глава 6: Иуда в каждом доме

Воскресная литургия в храме Святого Николая Чудотворца всегда имела свой особый, веками устоявшийся ритм, похожий на дыхание огромного, уставшего

зверя. Сначала — часы, бормотание чтеца, похожее на шум осеннего дождя, затем — возглас, и служба начинала набирать высоту, скрипя несмазанными петлями человеческих душ. Но в это воскресенье воздух в алтаре был густым и вязким, словно кто-то заменил ладан на тревогу.

Отец Василий стоял перед Престолом. На аналое, поверх служебника в потертом бархатном переплете, лежал лист бумаги формата А4. Это был циркуляр. Текст «Молитвы о Святой Руси», спущенный сверху, из патриархии, с пометкой «обязательно к прочтению на каждой литургии». Бумага была белой, офисной, чужеродной среди потемневшего золота икон и восковых потеков.

Василий знал этот текст наизусть. Он въелся в память, как въедается в кожу запах гари. Там были слова о «супостатах», о «победе», о «защите единоверных». Слова, составленные людьми, которые, вероятно, считали, что Бог — это начальник генерального штаба с неограниченным ресурсом чудес, которого нужно просто правильно попросить, соблюдая субординацию и уставную лексику.

Наступил момент сугубой ектении. Дьякона в храме не было — штат не позволял, поэтому Василий сам произносил прошения. Хор, состоящий из трех пожилых женщин, чьи голоса напоминали скрип старой калитки, затих в ожидании.

В храме стояла тишина. Не благоговейная, а настороженная. Люди ждали. Они знали, что сейчас должно прозвучать. Телевизор научил их, что есть слова-маркеры, слова-пароли. «Победа», «оружие», «Святая Русь». Если священник их произносит — он свой. Если молчит — он чужой.

Василий посмотрел на лист. Буквы расплывались. Ему казалось, что если он сейчас произнесет эти слова, если попросит Бога благословить убийство, то Христос, смотрящий на него с запредельного образа, просто встанет и выйдет из храма. Тихо, не хлопая дверью, просто выйдет, оставив их здесь одних с их «победами» и «супостатами». И тогда храм превратится в простое помещение с раскрашенными досками, в клуб по интересам для любителей ритуальной магии.

Василий набрал в грудь воздуха, пахнувшего ладаном и сыростью. Его пальцы, держащие край епитрахили, побелели. Он отодвинул лист с «Молитвой о Святой Руси» в сторону.

— Еще молимся о мире всего мира, о благостоянии святых Божиих Церквей и соединении всех... — громко, отчетливо произнес он уставную, древнюю молитву.

И замолчал.

Никаких «супостатов». Никакой «победы оружия». Только мир.

В храме кто-то громко вздохнул. Этот вздох прозвучал как выстрел с глушителем. Василий спиной почувствовал этот вздох. Он знал, кому он принадлежит.

У правой колонны, там, где обычно ставили свечи за здоровье, стояла Зинаида Карповна. Она была председателем приходского совета, казначеем и главным инквизитором в одном лице. Зинаида Карповна знала Типикон лучше, чем таблицу умножения, и верила в него больше, чем в Евангелие. Для нее православие было набором инструкций по эксплуатации вселенной: если сделать всё правильно, по уставу, то Бог обязан выдать благодать, как банкомат выдает наличные.

Сейчас Зинаида Карповна стояла, держа в руках распечатку той самой молитвы. Она сверяла. Она была суфлером в этом театре абсурда, готовым в любой момент указать актеру на ошибку. И актер ошибся. Актер позволил себе отсебятину.

Василий обернулся, чтобы благословить народ. Он встретился взглядом с Зинаидой. Ее глаза, обычно водянисто-голубые, сейчас напоминали два дула, нацеленных ему в переносицу. Она не перекрестилась. Она медленно, демонстративно сложила листок с молитвой вчетверо и убрала его в карман своего необъятного пальто. Это движение было страшнее любого проклятия. Это была фиксация улики.

Служба закончилась. Василий разоблачался в алтаре, чувствуя, как дрожат руки. Он снимал фелонь, поручи, епитрахиль, и ему казалось, что он снимает с себя кожу. Он оставался голым перед надвигающейся бурей.

— Батюшка, — в алтарь заглянула алтарница, баба Маня, божий одуванчик, которая ничего не понимала в политике, но безошибочно чуяла беду, как животные чувствуют землетрясение. — Там Зинаида Карповна... Она звонила кому-то. Громко так. Говорила: «Саботаж». И еще: «Меры надо принимать».

— Пусть звонит, Маня, — устало ответил Василий, вешая облачение в шкаф. — У нас свобода слова.

— Какая ж свобода, отец родной? — зашептала старушка, крестясь. — Сейчас за слово-то и посадить могут. Вы бы... вы бы хоть для виду прочитали. Бог-то, Он ведь всё понимает, Он простит. А эти — не простят.

Василий посмотрел на нее. В ее словах была вся мудрость и вся трагедия русского народа. «Бог простит, а начальник — нет». Поэтому начальника боялись больше, чем Бога. Начальник был ближе, реальнее и карал немедленно, без Страшного Суда и предварительного следствия.

— Не могу, Маня. Не могу я просить Христа, чтобы Он помогал убивать. Я лучше в тюрьму сяду, чем в ад.

Маня заплакала, вытирая глаза кончиком платка. Она понимала, что прощается.

Гром грянул не сразу. Система, как огромный удав, переваривала информацию медленно, но основательно. Прошло три дня. Три дня тишины, когда телефон молчал, а прихожане, встречая Василия на улице, торопливо переходили на другую сторону, словно он был носителем чумной палочки.

В среду утром к дому Василия подъехала черная «Тойота Камри». Машина была чистой, несмотря на осеннюю распутицу, что само по себе в Нижних Котлах выглядело как вызов законам физики и здравому смыслу. Из машины вышел человек в сером пальто. Это был не полицейский. Это был сотрудник той самой структуры, название которой вслух произносить не любили, предпочитая эвфемизмы вроде «Контора» или «Кураторы».

Василий вышел на крыльцо. Он ждал. Он был готов. Чемоданчик с вещами первой необходимости — смена белья, Евангелие, зубная щетка — стоял в прихожей уже неделю.

— Гражданин Кропоткин? — спросил человек, не здороваясь. Лицо у него было гладкое, невыразительное, словно стертая ластиком. Такие лица удобно носить в толпе — они не запоминаются.

— Я, — ответил Василий.

— Проедемте. С вами хотят побеседовать.

— Арест? — спокойно спросил священник.

— Пока беседа. Профилактическая. Но всё зависит от вас.

Они ехали молча. Василий смотрел в окно на родные пейзажи: покосившиеся заборы, серые поля, остовы заброшенных ферм. Всё это было таким убогим и таким

родным, что сердце сжималось. Он понимал, что видит это, возможно, в последний раз.

Его привезли не в полицию, а в здание районной администрации, в кабинет на третьем этаже, где не было таблички на двери. В кабинете сидел еще один человек — постарше, с усталыми глазами и портретом президента за спиной. На столе перед ним лежала папка. Тонкая, картонная папка с надписью «Дело №...».

— Присаживайтесь, Василий Петрович, — сказал хозяин кабинета, указывая на стул. Голос у него был мягкий, почти отеческий. — Чай, кофе?

— Нет, спасибо.

— Зря. Кофе у нас хороший, зерновой. Не то что в... других местах.

Намек был прозрачен, как слеза младенца.

Человек открыл папку.

— Ну что ж, Василий Петрович. Ситуация у нас с вами... неоднозначная. Поступили сигналы. И не один.

Он достал из папки лист бумаги. Василий узнал почерк. Крупный, размашистый, с сильным нажимом. Почерк Зинаиды Карповны.

— Вот, пишет ваша прихожанка. Активный член общины, между прочим. Сообщает, что вы систематически игнорируете распоряжения священноначалия. Не читаете молитву о победе. Вносите, так сказать, диссонанс в духовное единство народа. Это правда?

— Я читаю молитвы, которые есть в служебнике, — ответил Василий. — Молитвы святых отцов. Иоанна Златоуста, Василия Великого. Они писали их полторы тысячи лет назад. Там нет про «Святую Русь» и «супостатов». Там про любовь.

— Любовь — это хорошо, — кивнул чиновник, словно соглашаясь с капризным ребенком. — Но мы живем в историческом моменте. И церковь у нас, Василий Петрович, не на облаке висит. Она — часть общества. А общество сейчас мобилизовано. Вы понимаете, что ваш демарш выглядит как... предательство?

— Предательство кого? Христа?

— Не надо демагогии, — голос чиновника стал жестче. — Христа оставьте для проповедей. Мы говорим о государстве. Но это еще полбеды. Церковные дела — это епархия пусть разбирается. У нас тут есть кое-что посерьезнее.

Он достал второй лист. Это был рапорт. Напечатанный на принтере, сухой, казенный текст.

— Статья 280.3 УК РФ. Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил Российской Федерации. Знаете такую?

— Я не делал никаких публичных заявлений, — твердо сказал Василий. — Я не веду блогов, не даю интервью.

— А это как посмотреть, — усмехнулся чиновник. — Вот, например, показания гражданки Свиридовой. Знаете такую? Продавщица в магазине «Продукты 24».

Василий вспомнил. Неделю назад он заходил за хлебом. Там была продавщица, Люба. У нее сын был там, на фронте. Она плакала, говорила, что боится.

— Я помню Любу. Я ее утешал.

— Утешали? — чиновник поднял бровь. — Вот тут написано: «Гражданин Кропоткин в присутствии двух свидетелей заявил, что война — это горе, что гибнут невинные люди, и что лучше бы эти деньги потратили на ремонт дорог в селе». Было такое?

— Я сказал, что война — это горе. Разве это не так? Разве смерть — это радость?

— В данном контексте, Василий Петрович, ваши слова интерпретируются как сомнение в целях и задачах специальной военной операции. Вы противопоставили ремонт дорог защите Родины. Вы посеяли сомнение в душе матери солдата. Это — дискредитация.

Василий смотрел на чиновника и понимал, что перед ним сидит не человек, а алгоритм. Алгоритм, в который загрузили новые параметры: «война = добро», «мир = зло», «сомнение = преступление». Спорить с алгоритмом было бесполезно.

— И что теперь? — спросил он.

— Теперь? — чиновник закрыл папку. — Теперь будет следствие. Суд. Срок. У вас уже есть административка? Нет? Ну, будет сразу уголовка, учитывая

отягчающие обстоятельства. Использование служебного положения, влияние на умы верующих. Лет пять-семь, я думаю.

Он сделал паузу, давая словам повиснуть в воздухе тяжелым свинцовым облаком.

— Но мы же не звери, Василий Петрович. Мы понимаем. Вы человек увлекающийся, начитались книжек разных... Может, заблуждаетесь. У вас есть шанс.

— Какой?

— Напишите заявление. По собственному желанию. Сложите сан. И уезжайте. Куда-нибудь... подальше. Чтобы духу вашего здесь не было. В течение 24 часов. Тогда дело, может быть, потеряется. Папка упадет за шкаф. Бывает такое.

Василий молчал. Ему предлагали сделку. Свобода в обмен на изгнание. Жизнь в обмен на молчание.

— Почему? — спросил он. — Зачем вам это? Посадите меня — получите звездочку.

— Звездочку я и так получу, — поморщился чиновник. — А вот шума не хочу. Вы, говорят, популярны в народе. Крыши чините, сирот кормите. Если вас посадить — народ может не понять. Начнут писать, жаловаться. Зачем нам это напряжение? Нам нужна тишина. Стабильность. Так что, Василий Петрович, исчезните. Растворитесь. Как ваш друг Игнатий. Умный мужик был, вовремя понял намек.

Василий вышел из здания администрации. На улице шел мелкий, противный дождь. Он сел в свою «Ниву», положил руки на руль и долго смотрел на капли, стекающие по стеклу.

24 часа.

Сутки, чтобы перечеркнуть всю жизнь. Сутки, чтобы собрать вещи и бежать, как вор, из дома, который он строил, из храма, который он любил.

Но самое страшное было не это. Самое страшное было то, что он должен был попрощаться.

Вечером он поехал к Веронике Михайловне.

Дом сирот встретил его запахом пирогов. Бабушка старалась, как могла, создать уют в этом тонущем корабле. Артем сидел за столом, делал уроки. София читала книгу в углу.

Когда Василий вошел, они сразу всё поняли. Дети чувствуют беду острее взрослых. Они считывают ее не по словам, а по вибрации воздуха, по тому, как человек снимает куртку, как он молчит.

— Дядя Вася? — тихо спросил Артем, откладывая ручку. — Что случилось?

Василий сел на стул. Стул скрипнул, словно жалуясь на тяжесть момента.

— Артем, Соня... Вероника Михайловна... — он не знал, как начать. Язык прилип к гортани. Как сказать детям, которых уже предали один раз, забрав у них отца и мать, что их предадут снова? Что единственный взрослый мужчина, который был их опорой, сейчас встанет и уйдет, чтобы спасти свою шкуру?

— Тебя выгоняют? — спросила София. Она не смотрела на него, она смотрела в книгу, но костяшки ее пальцев побелели.

— Да, Соня. Меня выгоняют.

— За правду? — спросил Артем. В его голосе звучала надежда. Ему нужно было знать, что дядя Вася — герой, а не трус.

— За то, что я не хочу врать, — ответил Василий. — Мне нужно уехать. Далеко. Иначе меня посадят в тюрьму, как вашу маму.

В комнате повисла тишина. Слышно было только, как тикают ходики на стене. Тик-так. Тик-так. Время уходило, утекало сквозь пальцы.

Вероника Михайловна опустила на табурет и закрыла лицо руками. Ее плечи затряслись.

— Господи, да за что же это нам? — запричитала она. — Сначала Колю, потом Настю, теперь тебя... Кто ж нас защитит? Кто крышу починит, если потечет? Кто Артемке велосипед сделает? Мы же пропадем здесь одни, Василий! Съедят они нас!

Эти слова резали Василия без ножа. «Съедят». Да, съедят. Система не успокоится. Она будет грызть этих детей, напоминая им каждый день, что они — дети врагов. И некому будет встать между ними и школьным директором, между ними и злыми соседями.

— Я не могу остаться, Вероника Михайловна, — глухо сказал он. — Если я останусь, я сяду. И из тюрьмы я вам точно ничем не помогу. А так... я найду способ. Я буду присылать деньги. Я вытащу вас. Обещаю.

— Обещаешь? — София подняла глаза. В них были слезы, но взгляд был взрослым, жестким. — Папа тоже обещал вернуться. И мама обещала, что всё будет хорошо. Взрослые всегда обещают, когда уходят. А потом не возвращаются.

Василий подошел к ней, опустился на колени.

— Соня, послушай меня. Я не папа. Я не иду на войну. Я иду искать выход. Для всех нас. Я не бросаю вас. Я просто... отступаю, чтобы перегруппироваться. Понимаешь?

Она молчала. Потом вдруг обняла его за шею, уткнулась носом в его колючую щеку и заплакала. Горько, навзрыд, по-детски.

— Не уезжай! Пожалуйста! Спрячься у нас! Мы тебя в подполе спрячем, никто не найдет! Мы никому не скажем!

Василий гладил ее по голове, чувствуя, как его собственное сердце разрывается на куски. Это была Голгофа. Не героическая, с крестом и толпой, а тихая, бытовая, пахнувшая пирогами и детскими слезами.

— Нельзя, Соня. Найдут. И вам тогда будет плохо. Я должен уйти. Ради вас.

Он просидел у них час. Пил чай, который не лез в горло. Оставил Веронике Михайловне все деньги, которые у него были — «гробовые», отложенные на черный день. Оставил Артему свой набор инструментов — хороший, немецкий, который берег как зеницу ока.

— Учись, Артем, — сказал он, передавая тяжелый ящик. — Мужчина должен уметь работать руками. Если руки золотые, голова не пропадет.

Когда он уходил, Артем вышел на крыльцо.

— Дядя Вася! — крикнул он в темноту.

Василий обернулся.

— А ты вернешься? Правда вернешься? Когда наши победят?

— Кто «наши», Артем? — спросил Василий.

— Ну... добрые. Те, кто не сажает в тюрьму за песни.

— Вернусь, Артем. Когда добрые победят — я обязательно вернусь.

Он ушел не оглядываясь. Он знал, что если оглянется, то не сможет уехать. Останется, сядет на крыльцо и будет ждать конвоя.

Последняя ночь в его доме была странной. Василий не спал. Он ходил по комнатам, собирая вещи. Что взять с собой в изгнание? Книги? Они тяжелые. Иконы? Их могут отобрать на границе как культурную ценность. Одежду?

Он взял только самое необходимое. Ноутбук. Документы. Несколько смен белья. И маленький деревянный крест, который вырезал сам, когда только начинал служить.

В углу комнаты стоял пакет с мусором. Василий вытряхнул его на пол. Там были черновики проповедей, старые квитанции, письма. Он начал жечь их в печке. Огонь жадно лизал бумагу.

Вместе с бумагами сгорала его прошлая жизнь. Жизнь сельского батюшки, который верил, что можно спасти мир малыми делами. Оказалось, нельзя. Малые дела раздражают систему больше, чем большие преступления. Потому что малые дела показывают, что система не работает. Что крышу вдове чинит поп, а не государство. Что утешает мать солдата поп, а не телевизор.

Василий смотрел на огонь и думал о своих прихожанах. О Зинаиде Карповне. О Любе из магазина. О тех, кто писал доносы.

Иуда был один. А здесь Иуда поселился в простых домах. Он смотрел из зеркала, он сидел за кухонным столом, он стоял в очереди за хлебом. Люди предавали друг друга не за тридцать сребреников, а за чувство безопасности. За иллюзию того, что если ты укажешь на врага, то тебя самого не тронут.

Это был вирус страха, который мутировал в вирус подлости. И вакцины от него не было.

Василий вспомнил, как вчера к нему подошел сосед, дядя Петя. Тот самый, которому Василий месяц назад перебирал карбюратор на старой «шестерке». Петя отвел глаза, сплюнул на землю и сказал:

— Ты это, Василий... Не обижайся. Но я с тобой здороваться больше не буду. Мне проблемы не нужны. У меня зять в полиции работает, сказал — ты на карандаше. Так что извини.

И ушел. А сегодня утром Василий видел, как Петя безуспешно пытался завести свою машину. Она чихала, кашляла, но не ехала. Петя пинал колеса, матерился. Ему нужна была помощь. Но он не мог пойти к Василию. Гордость? Нет, страх. Страх, что если он попросит помощи у «предателя», то сам станет «неблагонадежным».

Они сами себя наказывали. Они выгоняли врача из чумного барака, потому что врач отказывался славить чуму.

Василий бросил в огонь последнюю бумажку. Бумага вспыхнула мгновенно, слова превратились в черный пепел и улетели в трубу.

Он оделся. Погасил свет. Дом погрузился в темноту. Он казался уже чужим, покинутым. Дух дома уходил вместе с хозяином.

Василий вышел на улицу. Было три часа ночи. Село спало. Спала Зинаида Карповна, видя во сне, как ей вручают медаль за бдительность. Спал Никита, студент-стукач, мечта о карьере в ФСБ. Спал чиновник из администрации, уверенный, что он решил проблему.

Только в окне Вероники Михайловны горел слабый ночник.

Василий подошел к своей «Ниве». Она была старой, ржавой, но верной. Он погладил ее по капоту, как живое существо.

— Ну что, старушка, — прошептал он. — Вывезешь? Нам предстоит долгий путь.

Он сел за руль. Повернул ключ. Мотор отозвался уверенным рокотом.

Василий не стал включать фары сразу. Он медленно, на холостых оборотах, выкатился со двора. Проехал по спящей улице, мимо храма, купола которого тускло блестели в лунном свете.

Он остановился на секунду. Посмотрел на крест.

— Прости меня, Господи, — прошептал он. — Я не смог. Я слабый. Я ухожу. Но я вернусь. Я обязательно вернусь, когда здесь снова можно будет дышать.

Он включил фары. Лучи света разрезали тьму, выхватывая из нее дорогу, уходящую в неизвестность. Дорогу прочь от безумия, прочь от страха, прочь от страны, которая решила покончить с собой.

В зеркале заднего вида он увидел, как вдалеке, на въезде в село, вспыхнули два красных огонька. Машина наружного наблюдения. Они проснулись. Они поняли.

— Поздно, — зло усмехнулся Василий. — Ищите ветра в поле.

Он нажал на газ. «Нива» рванула вперед, оставляя за спиной Нижние Котлы, оставляя за спиной жизнь, которая была, и устремляясь в жизнь, которой еще не было.

На пассажирском сиденье лежал телефон. На экране светилось сообщение от Игнатия: «Лодка готова. Петр ждет».

Василий ехал навстречу шторму, зная, что только пройдя сквозь него, можно найти берег. Василий переключил передачу и разогнал машину до предела. Гонка началась. И ставкой в ней была не просто свобода, а право остаться человеком.

Глава 7: Побег из зоны молчания

Ночь, в которую отец Василий покидал Россию, была лишена всякого романтического флера. В ней не было ни тревожной луны, освещающей путь беглецу, ни драматического дождя, смывающего следы. Была лишь вязкая, непроглядная тьма, пахнувшая прелой листвой и дешевым бензином, да ощущение, что само пространство вокруг сжалось до размеров салона старой «Нивы».

Василий гнал машину по проселочной дороге, которую знал только он и местные трактористы, да и те предпочитали объезжать этот участок стороной, опасаясь оставить в колее подвеску. «Нива» ревела, подпрыгивала на ухабах, словно раненое животное, но упорно ползла вперед. В зеркале заднего вида уже полчаса как погасли красные огоньки преследователей. Те, кто сидел в тонированной иномарке, видимо, решили, что ломать казенный транспорт ради поимки одного сельского попа — это перерасход бюджета и личных нервных клеток. Система, как известно, не любит бездорожья; она эффективна там, где есть асфальт и камеры, а в русской грязи вязнет любой Левиафан.

Телефон, лежавший на пассажирском сиденье, коротко вибрировал, выдавая координаты следующей точки. Игнатий, или «Петр», как он теперь себя называл,

вел его. Это было странное чувство — доверять свою жизнь невидимой нити цифровых сообщений, зная, что на другом конце этой нити сидит монах-расстрига, который еще недавно спорил с тобой о природе Фаворского света, а теперь организует нелегальный трафик через государственную границу.

Маршрут, который выстроил Игнатий, напоминал заячью петлю. Он избегал федеральных трасс, напшигованных камерами с системой распознавания лиц. «Цифровой ГУЛАГ», как любил выражаться Игнатий, имел свои дыры. Он был построен людьми, которые воровали на кабелях и серверах, а потому «всевидящее око» Саурана периодически моргало, слепло или смотрело не в ту сторону. Задача Василия была проскользнуть именно в этот момент моргания.

Первая остановка была в глухой деревне, название которой отсутствовало даже на подробных картах Генштаба. У покосившихся ворот его ждал человек. Никаких паролей, никаких явок. Просто мужик в ватнике, который молча открыл ворота гаража, загнал туда «Ниву» и указал Василию на стоящий рядом неприметный фургончик с надписью «Хлеб».

— Дальше на этом, — буркнул мужик, вытирая руки ветошью. — Документы в бардачке. Ты экспедитор. Везешь возврат.

— А «Нива»? — спросил Василий, чувствуя, как предательски дрожит голос. Он прощался не с машиной, а с последним куском своего дома.

— «Ниву» в разбор, — равнодушно ответил мужик. — Или в болото. Как карта ляжет. Тебе не все равно? Ты, батюшка, теперь никто. Призрак. А призракам имущество не положено.

Василий пересел в фургон. Он ехал еще пять часов, меняя области, пересекая невидимые границы регионов, каждый из которых был маленьким феодальным княжеством со своими правилами и своими страхами.

Он думал о том, как странно устроен человек. Еще вчера он боялся тюрьмы, боялся допросов, боялся за детей. А сейчас, когда мосты были сожжены, страх трансформировался в холодную, расчетливую злость. Это была злость загнанного зверя, который вдруг понял, что охотники — не боги, а просто люди с ружьями, и они тоже могут промахнуться.

К утру он добрался до приграничного города. Здесь воздух был другим. Он был наэлектризован ожиданием и тревогой. Люди на улицах шли быстрее, смотрели

под ноги, словно боялись встретиться взглядом с кем-то, кто может задать лишний вопрос. Город жил транзитом. Через него утекала кровь страны — уезжали те, кто не хотел убивать и быть убитым.

Инструкция Игнатия была предельно точной: оставить машину на парковке у торгового центра, пройти два квартала пешком, сесть в маршрутку до КПП. Никаких такси. Никаких звонков. Телефон выключить, сим-карту сломать и выбросить в урну.

Василий сделал всё, как было велено. Когда он ломал пластик сим-карты, ему показалось, что он ломает хребет своему прошлому. Вместе с этим кусочком пластика исчезали номера прихожан, телефон Вероники Михайловны, контакт старосты. Он обрывал связи, чтобы не потянуть за собой тех, кто остался на дне.

На КПП была очередь. Длинная, хмурая змея из людей с чемоданами, рюкзаками, переносками для котов. Здесь не было разговоров. Тишина стояла такая, что было слышно, как шуршат шины проезжающих фур. Люди боялись спугнуть удачу. Каждый из них нес в себе свою историю, свой страх, свою причину бегства, но все они были объединены одним желанием — оказаться по ту сторону шлагбаума.

Василий встал в хвост очереди. Он был одет в гражданское — джинсы, свитер, куртка. Никакой рясы, никакого креста напоказ. Обычный мужчина средних лет, уставший, небритый. Один из тысяч.

Когда подошла его очередь, он подошел к будке пограничника. Молодой парень в форме, с лицом, на котором скука боролась с синдромом вахтера, взял его паспорт.

— Цель поездки? — голос звучал механически, как у автоответчика.

— Туризм, — ответил Василий. Слово царапнуло горло. Туризм. Какое пошлое, неуместное слово. Туризм во время чумы.

Пограничник поднял глаза. Взгляд был цепким, колючим. Он сканировал лицо Василия, сверяя его с фотографией в паспорте и, возможно, с какими-то внутренними ориентировками.

— Надолго?

— Неделя. Может, две.

Пограничник начал листать паспорт. Медленно, страницу за страницей. Потом начал что-то печатать на клавиатуре. Василий стоял, чувствуя, как по спине течет холодная струйка пота. Секунды растягивались в часы. Ему казалось, что сейчас завоет сирена, опустятся решетки, и его схватят под руки. «Гражданин Кропоткин, вы задержаны за попытку бегства из рая».

В голове всплыла фраза Игнатия из последнего сообщения: «Система инерционна. Пока сигнал дойдет от районной администрации до пограничной базы, может пройти вечность. Бюрократия — наш лучший союзник».

Пограничник перестал печатать.

— Проходите. Следующий.

Василий забрал паспорт. Пальцы не слушались. Он сделал шаг, другой. Ноги были ватными. Он прошел через турникет, вышел в нейтральную зону.

Мост. Обычный бетонный мост через небольшую речку. На том берегу уже висел другой флаг.

Василий шел по мосту и не мог дышать. Ему казалось, что воздух здесь, над рекой, слишком разреженный. Или, наоборот, слишком плотный от концентрации судеб, прошедших здесь до него. Он обернулся. Позади осталась серая громада КПП, за которой простиралась огромная страна. Страна, где остались могилы его предков, его храм, его прихожане, дети, которых он любил. Страна, которая объявила его врагом.

Он перекрестился. Мелко, незаметно, пряча руку в карман.

— Спаси их, Господи, — прошептал он. — И прости нас.

На той стороне всё было буднично. Другая форма пограничников, другой язык, другие улыбки. Здесь не искали врагов. Здесь просто проверяли документы.

— Welcome, — сказал ему офицер, возвращая паспорт.

Василий вышел из терминала. Перед ним была другая страна. Она встретила его запахом кофе из ближайшего киоска, шумом таксистов и какой-то невыносимой, кричащей нормальностью. Люди смеялись. Кто-то говорил по телефону, обсуждая ужин. Дети ели мороженое.

Василия накрыло. Это был не восторг освобождения, о котором пишут в книгах. Это был шок. Как у водолаза, которого слишком быстро подняли с глубины.

Его кессонная болезнь называлась «синдром выжившего». Почему здесь люди живут, а там — выживают? Почему здесь небо просто небо, а не купол, под которым задыхаются миллионы?

Он сел на скамейку, поставил сумку на асфальт и закрыл лицо руками. Ему нужно было время, чтобы перенастроить оптику. Его глаза привыкли к полумраку, к оттенкам серого, к лицам, искаженным страхом. Здесь было слишком ярко. Слишком цветно.

К нему подошел таксист.

— Taxi? City center? Train station?

Василий поднял голову.

— Train station, — хрипло сказал он. — Please.

Поезд несясь сквозь пейзажи, которые казались нарисованными. Аккуратные домики, подстриженные поля. Всё это было красиво, но для Василия эта красота была плоской, как открытка. Его душа осталась там, в грязи проселочных дорог, в запахе ладана и перегара, в глазах Артема, спрашивающего, когда победят добрые.

Он ехал к Игнатию. В город, название которого еще вчера было для него просто точкой на карте, а теперь становилось местом его новой жизни. Или местом его изгнания.

На вокзале былолюдно. Василий вышел из вагона, озираясь по сторонам. Он искал рясу, бороду, знакомый силуэт монаха. Но толпа была пестрой, безликой.

— Василий!

Он обернулся. К нему шел человек в светлом плаще, в джинсах, в берете. Борода была аккуратно подстрижена, в руке — стаканчик с кофе. Если бы не глаза — глубокие, умные, с той самой искоркой иронии, — Василий прошел бы мимо.

Это был Игнатий. Но не тот отец Игнатий, который сидел в избе, заваленной книгами, рассуждая о судьбах России. Это был европеец. Интеллектуал в изгнании. Профессор, философ, кто угодно, но не сельский поп.

Они не бросились друг другу в объятия. Не было слез. Они просто стояли и смотрели друг на друга, как два солдата, встретившиеся в госпитале после мясорубки. Живые. Целые. Но с одинаковыми шрамами внутри.

— Ну, здравствуй, брат, — Игнатий протянул руку. Рукопожатие было крепким, сухим. — С прибытием в зону свободного вещания.

— Я не узнал тебя, отче, — сказал Василий. — Ты... мимикрировал.

— Адаптация, Василий, — усмехнулся Игнатий. — Первое правило выживания вида. Ряса здесь привлекает внимание, а нам с тобой сейчас нужна тишина. Пойдем. Машина ждет.

Они вышли на привокзальную площадь. Игнатий вел себя уверенно, словно прожил здесь всю жизнь. Он легко лавировал в потоке людей, бросал короткие фразы на местном языке, расплачиваясь за парковку.

— Как ты выбрался? — спросил Василий, когда они сели в небольшую, юркую машину Игнатия.

— Так же, как и ты. Через «кротовую нору». У нас теперь целая логистика. Знаешь, что самое смешное? Те люди, которые нас вывозят... многие из них даже не верующие. Агностики, атеисты. Но они рискуют свободой ради нас, попов. А наши «братья во Христе» пишут на нас доносы. Парадокс, достойный пера Достоевского.

— Я видел их глаза, — тихо сказал Василий. — Тех, кто остался. Они не злые, Игнатий. Они просто... ослепшие.

— Слепота бывает разная, — жестко ответил Игнатий, выруливая на автобан. — Бывает физическая, когда глаза не видят света. А бывает нравственная, когда совесть не видит зла. И вторая, брат мой, не лечится окулистом.

Они ехали молча. Василий смотрел на мелькающие за окном указатели. Он чувствовал себя странно. Физическая опасность миновала. Никто не гнался за ним, никто не прослушивал его телефон (хотя Игнатий сразу выдал ему новый аппарат с какой-то хитрой защитой). Но внутри нарастала другая тревога. Тревога пустоты.

— Куда мы едем? — спросил он.

— В штаб, — коротко ответил Игнатий.

— В штаб?

— Ну, или в скит. Называй как хочешь. Мы сняли квартиру на окраине. Не хоромы, конечно, но для работы хватит. Нас там уже ждут.

— Кто?

— Книги, Василий. И документы. Много документов.

Квартира располагалась на последнем этаже старого дома без лифта. Поднимаясь по узкой лестнице, Василий слышал запахи чужой жизни: жареный лук, стиральный порошок, какая-то пряность. Это был обычный дом для обычных людей.

Игнатий открыл дверь.

— Добро пожаловать в Оптину Пустынь в изгнании.

Квартира была двухкомнатной, светлой, с высокими потолками. Мебели было минимум: два дивана, большой стол, несколько стульев. Но стены... Стены были заставлены стеллажами. Книги, папки, распечатки, карты, схемы. На одной стене висела большая доска, на которой маркером были нарисованы какие-то связи, стрелки, фамилии.

В углу, на комоде, стояли иконы. Старые, намоленные, видимо, вывезенные Игнатием с собой. Перед ними теплилась лампада. Этот огонек был единственным мостиком, связывающим это пространство с тем миром, который они покинули.

Василий прошел в комнату, провел рукой по корешкам книг. Здесь были не только богословские труды. Социология, политология, история тоталитаризма, психология масс. Арендт, Оруэлл, Фромм, Франкл.

— Ты времени не терял, — заметил Василий.

— А что мне оставалось? — Игнатий бросил плащ на диван и прошел на кухню. Зашумела кофемашина. — Молиться и плакать? Это мы умеем. Но слезами горю не поможешь, а молитва без осмысления превращается в заклинание. Я решил понять, Василий. Понять, как это произошло. Как страна, которая дала миру преподобного Сергия, превратилась в фабрику по производству ненависти. И почему Церковь стала цехом в этой фабрике.

Он вернулся с двумя чашками кофе.

— Садись. Разговор будет долгим.

Василий сел за стол. Он чувствовал себя учеником, который пришел на экзамен, но не выучил ни одного билета.

— Я чувствую себя дезертиром, — признался он, глядя в черную гладь кофе. — Я бросил их. Артема, Соню. Бабушек. Они там одни, в темноте. А я здесь, пью эспрессо в безопасности. Какое я имею право что-то понимать?

Игнатий посмотрел на него строго.

— Прекрати. Это ловушка. Дьявол любит играть на чувстве вины. «Ты сбежал, ты трус, сиди и молчи». Нет, Василий. Ты не сбежал. Ты вышел из зоны поражения. Там, внутри, ты был мишенью. Тебя бы просто размазали, и никто бы даже не заметил. А здесь ты — свидетель. Ты — голос.

Игнатий встал, подошел к доске и постучал маркером по одной из схем.

— Посмотри сюда. Что ты видишь?

Василий присмотрелся. На доске была нарисована сложная структура. В центре — слово «СТРАХ». От него шли стрелки к разным блокам: «Государство», «СМИ», «Школа», «Церковь».

— Мы привыкли думать, что во всем виноват один человек. Или группа людей в Кремле. Но это упрощение, — пояснил Игнатий. — Это детский сад. Проблема глубже. Проблема в том, что мы имеем дело не с политическим режимом, а с псевдорелигиозным культом.

— Культом? — переспросил Василий.

— Именно. Посмотри на симптомы. Есть непогрешимый лидер. Есть священные тексты. Есть ритуалы (Z-символика, митинги). Есть еретики (иноагенты). Есть инквизиция (доносы). И есть жертвоприношения. Война — это жертвоприношение, Василий. Они приносят в жертву людей своему идолу — «Величию».

Игнатий говорил быстро, страстно. В его глазах горел тот самый огонь, который Василий помнил по их ночным беседам в селе. Но теперь этот огонь был холодным, аналитическим. Игнатий подошел к стеллажу и достал толстую папку.

— Вот. Это то, что я успел собрать за эти месяцы. Здесь циркуляры, статьи и даже проповеди. Я начал анализировать их. И знаешь, что я нашел?

— Что?

— Ересь. Чистейшую, дистиллированную ересь. Они создали новую теологию. «Теологию войны». В ней смерть — это не трагедия, а способ очищения. Убийство

— не грех, а подвиг. А спасение души зависит не от покаяния, а от лояльности идеологам.

Игнатий бросил папку на стол. Она упала с тяжелым звуком, словно внутри были не бумаги, а кирпичи.

— Мы с тобой, отец Василий, теперь не просто беглые попы. Мы должны вскрыть этот нарыв. Мы должны показать, откуда растут ноги у этого людоедства. И поверь мне, корни уходят очень глубоко. Глубже, чем 1937 год.

— Видишь? — Игнатий ткнул пальцем в строчку. — Они требуют у Бога победы силой. Не правдой, не духом, а силой. Это ветхозаветный крик племени, которое хочет вырезать соседей. Христа здесь нет. Христос в Гефсиманском саду не просил легионы ангелов, чтобы уничтожить римлян. А они просят.

Василий закрыл папку. Ему стало физически дурно. Он вспомнил Никиту, студента-доносчика. Вспомнил его горящие глаза: «Я очищаю общество». Никита верил, что делает благое дело. Ему это внушили. И внушили не только с экрана телевизора, но и с амвона.

— И что мы будем делать? — спросил Василий. — Писать статьи? Кому они нужны? Нас никто не услышит. Там — глухая стена. Зона молчания.

— Вода камень точит, — ответил Игнатий. — И слово тоже. Мы будем собирать факты. Мы будем называть вещи своими именами. Мы составим хронику падения. Может быть, сейчас нас не услышат. Но когда всё это рухнет — а оно рухнет, Василий, любой идол рано или поздно падает мордой в грязь, — людям понадобятся ответы. Им нужно будет понять, как они дошли до такой жизни. И мы дадим им эти ответы.

Игнатий подошел к окну. За стеклом сгустились сумерки. Город зажигал огни.

— Знаешь, я тут нашел одну интересную ниточку, — задумчиво произнес он. — Ты слышал про РАЦИРС?

— Антисектантские центры? — удивился Василий. — Слышал краем уха. Дворкин и компания. Они вроде с сектами борются.

— Борются... — Игнатий усмехнулся. — Это официальная версия. А если копнуть глубже, то выясняется, что они не просто борются с сектами. Они создают методологию ненависти. Они научили общество искать врагов. Они ввели понятие «деструктивный культ» и под эту марку начали травить всех, кто не вписывается в

их стандарт. Сначала кришнаитов, потом протестантов, потом психологов, а теперь — и нас с тобой.

Игнатий повернулся к Василию.

— Я думаю, Василий, что мы найдем там много интересного. Я начал копать их связи. И там... там пахнет серой. Там такие параллели всплывают, что волосы дыбом встают. Но об этом — позже. Тебе надо отдохнуть. Ты выглядишь как человек, который вернулся с того света.

— Я и вернулся, — сказал Василий.

Он встал, подошел к иконам. Зажег свечу. Пламя дрогнуло, но выровнялось, устремившись вверх.

В этой квартире, заваленной свидетельствами преступлений, среди схем и графиков, Василий вдруг почувствовал то, чего не чувствовал уже очень давно. Смысл.

Его побег не был бегством. Это была командировка. Он не бросил свой крест. Он просто перенес его на другое поле битвы. Там, в России, он мог только молчать и страдать. Здесь он мог говорить и действовать.

Он вспомнил Артема. «Я буду судьей», — сказал мальчик.

— Мы подготовим для тебя материалы, Артем, — прошептал Василий. — Мы соберем доказательства. Чтобы твой суд был справедливым.

Он повернулся к Игнатию.

— Я готов, отче. С чего начнем?

— Начнем с начала, брат. С истоков подмены. Завтра мы будем досконально изучать официальную идеологию. А сегодня... сегодня давай просто выпьем чаю. И помолимся. По-настоящему. Без циркуляров.

За окном шумел чужой, свободный город. А в маленькой квартире на окраине два русских священника, лишённые родины и паствы, начинали своё противостояние времени. Это было не сражение и не бунт, а тяжёлое стояние — за Христа, которого изгнали из храмов, но который нашёл приют здесь, среди книг и папок с доносами, в сердце двух уставших, но не сломленных людей.

На столе лежал маленький деревянный крестик, который Василий вырезал сам. Он лежал как ключ. Ключ от двери, которую им предстояло открыть, даже если за ней скрывалась тьма.

Глава 8: Истоки подмены

Европейское утро за окном было предательски безмятежным. Где-то внизу, на мощеной улице, звякнул трамвай, просигналил велосипедист, и запах свежей выпечки, просачиваясь сквозь старые рамы, смешивался в квартире с запахом пыли и типографской краски. Но для отца Василия и отца Игнатия этого утра не существовало. В их временном убежище, превращенном в оперативный штаб, царила вечная, глухая ночь — та самая, что опустилась на их родину.

Квартира напоминала не жилище двух священников-эмигрантов, а прозекторскую, где на столе вместо тела лежала огромная, израненная страна. Стол был завален бумагами: распечатки циркуляров, скриншоты с сайтов епархий, тексты проповедей, фотографии с патриотических концертов. Игнатий, ссутулившись, ходил от стены к стене, похожий на хирурга, который только что вскрыл грудную клетку пациента и обнаружил, что сердце там давно заменено на часовой механизм с обратным отсчетом.

— Мы ищем не ошибку, Василий, — глухо произнес Игнатий, останавливаясь у доски, исчерченной схемами. — Мы ищем место преступления. И, кажется, мы его нашли. Труп Христа спрятан не в подвале. Его спрятали прямо на престоле, прикрыв парчой и громкими словами о патриотизме.

Василий сидел за столом, держа в руках лист бумаги. Тот самый текст, из-за которого его жизнь раскололась надвое. «Молитва о Святой Руси». Теперь, когда страх ареста отступил, уступив место холодной аналитической ярости, он читал эти строки иначе. Не как молитву, а как вещественное доказательство.

— Давай исследовать, изучать, — сказал Игнатий, садясь напротив. — Без эмоций. Как патологоанатомы. Что мы видим?

Василий положил лист перед собой.

— Текст составлен грамотно, — начал он, стараясь, чтобы голос звучал ровно.
— Стилизация под церковнославянский безупречна. Ритмика соблюдена. Для обычного прихожанина, который не вникает в смысл, это звучит как привычное богослужбное бормотание. Но если вчитаться...

— Читай, — приказал Игнатий. — Читай вслух то место, где происходит подмена.

Василий нашел нужный абзац. Буквы, казалось, источали яд.

— «...се бо брани хотяция ополчишася на Святую Русь, чающе разделить и погубити единый народ ея».

Игнатий резко кивнул.

— Стоп. Фиксируем. Что здесь сказано? Здесь сформулирован политический миф. Не духовная реальность, а именно миф. Концепт «Святой Руси» здесь используется не как метафора Царства Небесного, к которому мы все стремимся, а как конкретная геополитическая территория. Причем территория, на которую якобы напали.

— Но ведь напали мы, — тихо сказал Василий. — Танки перешли границу с нашей стороны. Ракеты летят с нашей стороны.

— Именно! — Игнатий ударил ладонью по столу. — И вот она, первая инъекция лжи. Агрессор объявляет себя жертвой. Это классическая манипуляция сознанием, переведенная на язык литургии. Они берут факт — начало войны Россией — и переворачивают его с ног на голову, утверждая, что это некие абстрактные «брани хотяция» (желающие войны) ополчились на нас. Это квинтэссенция методички, только вместо диктора новостей ее озвучивает священник в епитрахили. Авторитет Бога используется для легализации лжи.

Василий продолжил чтение, чувствуя, как внутри нарастает тошнота.

— «Возстани, Боже, в помощь людям Твоим и подаждь нам силою Твоею победу».

В комнате повисла тишина. Это было то самое место. Точка невозврата.

— «Победу», — повторил Игнатий с горечью. — Не мир. Не вразумление. Не покаяние. Победу. Ты понимаешь, что это значит с точки зрения богословия?

— Мы просим Бога стать соучастником, — ответил Василий. — Мы просим Его взять меч и пойти убивать вместе с нами.

— Хуже, Василий. Гораздо хуже. Вспомни «Отче наш». Там есть прошение: «Да будет воля Твоя». Это основа. Смирение перед замыслом Творца. А здесь? Здесь мы диктуем Богу свою волю. «Подаждь нам победу». Мы превращаем Бога в наемника, в небесную артиллерию, которая обязана обеспечить огневую поддержку нашим амбициям. Это не христианство. Это язычество. Племенной божок, который должен грызть глотки врагам племени за то, что племя приносит ему жертвы.

Игнатий встал и подошел к окну, глядя на черепичные крыши чужого города.

— Знаешь, когда это началось? Не 25 сентября 2022 года, когда Гундяев спустил этот текст. Это началось раньше. Помнишь, как мы радовались в двухтысячном году? «Основы социальной концепции». Какой прогрессивный документ! Церковь наконец-то сформулировала свое отношение к миру!

Он вернулся к столу и вытащил из стопки толстую брошюру в мягкой обложке. Страницы были заложены цветными стикерами.

— Я перечитал это вчера. И волосы встали дыбом. Мы были слепы, Василий. Мы читали то, что хотели видеть, а не то, что там написано. Смотри. Глава восьмая. «Война и мир».

Игнатий открыл брошюру на закладке.

— Вот, черным по белому: «Признавая войну злом, Церковь все же не воспрещает своим чадам участвовать в боевых действиях...». Ладно, это допустимо, защита отечества и так далее. Но дальше! Смотри, как хитро расставлены капканы. Они вводят понятие «справедливой войны». И тут же пишут: «В нынешней системе международных отношений подчас бывает сложно отличить агрессивную войну от оборонительной».

— То есть они заранее размыли границы? — спросил Василий.

— Они создали юридическую лазейку для оправдания любой агрессии! Если «сложно отличить», значит, можно назвать черное белым. И кто будет отличать? Синод? Патриарх? А если Патриарх скажет, что нападение на соседа — это «превентивная самооборона», то вся Церковь обязана взять под козырек?

Игнатий листал страницы с остервенением.

— А вот это? «Русская церковь многожды благословляла народ на участие в освободительной войне». И дальше ссылка на святителя Филарета: смерть за отечество — путь к «жизни и венцу на небе». Они взяли цитаты святых, вырвали их из контекста девятнадцатого века и пришили к ядерной кнопке двадцать первого.

Василий вспомнил проповедь патриарха, которую слышал в записи. Тот самый день, когда он понял, что больше не сможет служить.

— Он говорил о жертве, — тихо сказал Василий. — Патриарх говорил, что смерть на войне смывает все грехи.

— Да! — воскликнул Игнатий. — И это — главная ересь. Это сотериологическое преступление. В христианстве грехи смывает только Кровь Христова и покаяние. Никакая смерть в окопе, никакой подвиг с гранатой не является таинством искупления. Но сегодня на высшем уровне утверждается, что человек, погибший «за других», якобы приносит жертву, которая смывает все его грехи. Ты понимаешь масштаб подмены? Они создали новую религию. В ней спасение даруется не за веру и любовь, а за готовность умереть по приказу.

Игнатий бросил брошюру на стол. Она упала с глухим звуком, словно крышка гроба.

— И заметь, эта концепция не возникла внезапно. Её начали формулировать задолго до нынешних событий. Годами, десятилетиями. Сначала — осторожно, в статьях и докладах, потом — всё смелее, с церковных кафедр. Это была подготовка почвы. Медленная, системная.

Василий потерял виски. Голова гудела. Информация, которую он раньше воспринимал на уровне интуиции («что-то не так»), теперь складывалась в четкую, безжалостную систему.

— Но почему все молчат? — спросил он. — Ведь есть же богословы, есть профессора академий. Они же видят, что это ересь.

— Страх, — ответил Игнатий. — И не просто животный страх, а страх административный. Эта «Молитва о победе» — она ведь не для Бога написана. Бог в ней не нуждается. Она написана для нас, для клириков. Это тест на лояльность. Литургический полиграф.

Игнатий достал из папки еще один документ. Это была копия распоряжения по одной из епархий.

— Смотри. «Обязать настоятелей... под личную ответственность... докладывать о фактах уклонения...». Они превратили молитву в инструмент кадровой чистки. Не читаешь — значит, не лоялен. Не лоялен — значит, враг. Враг — значит, запрет в служении и лишение сана. Они создали механизм, где совесть стала профессиональной непригодностью.

Василий вспомнил Зинаиду Карповну, стоящую в храме с листком бумаги. Она сверяла текст. Она была частью этого механизма. Маленькой шестеренкой, которая перемалывала его жизнь.

— Это секта, — вдруг сказал Василий. — Игнатий, это признаки тоталитарной секты.

Игнатий посмотрел на него с уважением.

— Ты начинаешь видеть суть. Существует гигантская тоталитарная секта. У нее есть гуру, чье слово выше Евангелия. У нее есть метод контроля сознания — через страх и подмену понятий. У нее есть «внешние враги» и «внутренние предатели». И у нее есть своя эсхатология — включая спасение человечества от «сатанинского Запада».

Игнатий подошел к ноутбуку и развернул его экраном к Василию.

— Посмотри на это. Март 2024 года. Всемирный Русский Народный Собор. Документ называется «Наказ».

Василий вчитался в текст на экране.

«Специальная военная операция является Священной войной... Россия и её народ... выполняют миссию “Удерживающего”, защищающего мир от натиска глобализма и победы впавшего в сатанизм Запада».

— «Священная война», — прошептал Василий.

— Именно. Они официально ввели термин «Священная война» в доктрину. Раньше они стеснялись. Говорили про «защиту Донбасса», про «денацификацию». А теперь маски сброшены. Это война религиозная. Метафизическая. И цель ее — не защита людей, а уничтожение цивилизации, которую они объявили «сатанинской».

— Но это же безумие, — Василий откинулся на спинку стула. — «Удерживающий» — это библейский термин. Катехон.

— Они несут порядок кладбища, — жестко сказал Игнатий. — И называют это «Русским миром». Посмотри дальше. «Вся территория современной Украины должна войти в зону исключительного влияния России». Это уже не теология. Это план аннексии, освященный именем Христа. Они используют Бога как нотариуса для оформления краденых земель.

Игнатий закрыл ноутбук.

— А теперь давай посмотрим на символику. Ты видел Шамана?

— Певца? — поморщился Василий. — Видел.

— Нет, ты не просто видел. Ты смотрел, но не видел. Вспомни его образ. Кожаная куртка. Повязка на рукаве. Тяжелые ботинки. Эстетика. Ничего не напоминает?

Василий задумался. Образ был знакомым до дрожи.

— «Кабаре» Боба Фосса? — предположил он. — Гитлерюгенд?

— Бинго. Это эстетика Третьего Рейха. Четвертого, если быть точным. И его главный хит: «Мы — русские, с нами Бог». Знаешь, у кого на пряжках было написано «Gott mit uns»?

— У солдат Вермахта.

— Именно. Они даже не придумывают ничего нового. Они просто берут старые нацистские лозунги, переводят их на русский и выдают за патриотизм. «С нами Бог» — это не констатация факта, это претензия на исключительность. «Бог с нами, поэтому нам все позволено». Это моральная анестезия. Если Бог с нами, то убийство — не грех, а исполнение Его воли.

Игнатий начал ходить по комнате, его шаги гулко отдавались в пустой квартире.

— Мы имеем дело с чудовищной мутацией. Они взяли православие — религию любви, жертвенности, воскресения — и внутрь залили методы нацизма.

Василий слушал, и ему становилось страшно. Не за себя. За тех, кто остался там. За бабушек, которые слушают эти проповеди и верят. За детей, которых учат в школах, что «мы — русские, с нами Бог», а значит, можно ненавидеть всех остальных.

— Но кто-то же должен это остановить? — спросил он.

— Должен, — Игнатий остановился. — Мы. И такие, как мы. Те, кого они выдавили. Те, кого они называют предателями.

Он подошел к столу и взял еще одну распечатку.

— Знаешь, кто громче всех кричит о «священной войне»? Не только патриарх. Послушай вот это. Евгений Никифоров, радио «Радонеж». Казалось бы, православное радио, просвещение. А вот что он говорит про украинцев: «Там возможна только хирургия... Солнцепек... это нужно выжигать... только ветхозаветная этика... перерезал глотки тремстам служителям Валаама».

Василий вздрогнул.

— Перерезал глотки? Священник призывает резать глотки?

— Никифоров — мирянин, но он рупор. А вот протоиерей Александр Новопашин. Вице-президент РАЦИРС. Слышал про таких?

— Антисектантский центр?

— Да. Новопашин называет украинцев «людоедами». Говорит: «Людоедов надо уничтожать». Священник! Пастырь! Он использует риторику дегуманизации. Это первый шаг к геноциду. Сначала ты объявляешь врага нелюдем, людоедом, сатанистом, сектантом. А потом ты говоришь: «С ними нельзя договариваться, их можно только жечь Солнцепеком».

Игнатий положил руку на плечо Василия.

— Ты понимаешь, куда ведут эти нити? РАЦИРС, Дворкин, Новопашин... Они годами тренировались на «сектах». Они учили общество ненавидеть «иных». Свидетелей Иеговы, пятидесятников, кришнаитов. Они отрабатывали технологии расчеловечивания. А теперь они применили эти технологии к целому народу. К украинцам. А заодно и к нам, к «неправильным» православным.

Василий вспомнил Никиту. Студента, который писал доносы. Никита говорил теми же словами: «Очищать общество», «зараза», «опухоль».

— Никита... — прошептал Василий. — Он говорил, что это как хирургия. Больно, но надо.

— Вот! — Игнатий поднял палец. — Это и есть их вирус. Они внушили людям, что убийство — это терапия. Что война — это лекарство. И этот вирус был разработан в лабораториях. Это не стихийное бедствие. Это биологическое оружие, направленное против души.

Василий встал. Ему нужно было пройти. Комната казалась слишком тесной для такого объема лжи.

— Получается, — сказал он, глядя на иконы в углу, — что они украли у нас не только страну. Они украли у нас Бога. Они подменили Его идолом войны.

— Они пытались, — поправил Игнатий. — Но Бога нельзя украсть. Его можно только предать. Они предали. А мы... мы теперь свидетели обвинения.

Игнатий сел за компьютер.

— Я собираю досье, Василий. На каждого. Кто что сказал, кто что подписал. Кто благословил ракеты «Сатана». Кто назвал ядерное оружие «ангелами-хранителями». Был такой протоиерей Константин Татаринцев, слышал? Назвал ядерные боеголовки «нашими ангелами-хранителями». Десятый ангельский чин, понимаешь? Серафимы, Херувимы и... Искандеры.

Василий горько усмехнулся. Абсурд происходящего был настолько велик, что мозг отказывался его принимать всерьез. Казалось, это какой-то дурной фарс, антиутопия, написанная графоманом. Но за окном была реальность, а в папках лежали реальные приговоры реальным людям.

— А что с теми, кто не согласен? — спросил Василий. — Кроме нас.

— Их ломают. Или выдавливают. Как пасту из тюбика. Система не терпит пустоты. Если ты не поешь «Осанна» войне, ты — инородное тело. Тебя отторгает организм. Вспомни отца Иоанна, которого лишили сана за то, что он в молитве заменил слово «победа» на «мир». Одно слово! И всё, ты преступник. Это же Оруэлл, чистой воды. «Война — это мир». Только у нас наоборот: «Мир — это преступление».

Игнатий замолчал, глядя на экран.

— Знаешь, Василий, я думаю о будущем. Когда этот морок спадет — а он спадет, история не прощает таких перекосов, — что останется от Церкви? Руины? Кто поверит священнику после того, как он призывал «выжигать» людей?

— Артем, — вдруг сказал Василий.

— Что?

— Мальчик, сирота. Он спрашивал меня: «Когда победят добрые?». Что я ему скажу? Что добрые — это те, кто благословляет «Солнцепек»?

— Ты скажешь ему правду, — твердо ответил Игнатий. — Что добрые — это те, кто не участвовал в этом безумии. Те, кто сохранил Христа в своем сердце.

Игнатий подошел к карте России, висевшей на стене. Она была истыкана булавками.

— Мы здесь не просто так, Василий. Мы должны сохранить память. Они сейчас переписывают историю. Они говорят, что Россия всегда воевала со всем миром, что это ее священная миссия. Мы должны доказать, что это ложь. Что была другая Россия. Другая Церковь. Церковь мучеников, а не палачей.

Он повернулся к Василию.

— Завтра мы займемся архитекторами. Я покажу тебе структуру. Ты увидишь, как РАЦИРС, силовики и патриархия сплелись в один клубок. Это спрут, Василий. И у него много щупалец. Но голова... голова у него одна. И она гнилая.

Василий посмотрел на стол, заваленный бумагами. Среди них лежал его нательный крестик, который он снял, чтобы помыться с дороги, и забыл надеть. Простой, деревянный крестик на шнурке.

Он взял его в руки. Дерево было теплым.

— «С нами Бог», — прошептал он. — Как страшно звучат эти слова, когда их произносит убийца.

— Да, — кивнул Игнатий. — Но еще страшнее, когда убийца верит, что это правда.

В дверь позвонили. Резкий, требовательный звонок разорвал тишину квартиры. Василий вздрогнул, инстинктивно сжавшись. Старые рефлексy никуда не делись.

Игнатий жестом показал ему оставаться на месте. Он подошел к двери, посмотрел в глазок. Потом обернулся и улыбнулся — впервые за этот вечер по-настоящему, тепло и немного грустно.

— Это почта, Василий. Я заказал книги. Те, которые там, — он кивнул в сторону востока, — теперь сжигают или запрещают. А мы будем их читать. И хранить.

Он открыл дверь. На пороге стоял курьер с коробкой. Обычная сцена мирной жизни. Но для Василия в этой коробке было нечто большее, чем просто бумага и чернила. Там было лекарство от амнезии.

Когда Игнатий поставил коробку на стол и вскрыл ее ножом, Василий увидел сверху книгу с названием «Психология нацизма».

— Актуальное чтение, — заметил Игнатий. — Будем изучать анамнез пациента. Потому что, брат Василий, мы с тобой теперь не просто священники. Мы — экзорцисты. И нам предстоит изгонять легион бесов, которые вселились в тело нашей Родины.

Василий взял книгу. Обложка была глянцевой, холодной. Но внутри горел огонь знания. Того самого знания, которое делает человека свободным, но лишает его сна.

— Я готов, — сказал он.

Игнатий кивнул и погасил верхний свет. Осталась только настольная лампа, освещающая карту России, похожую на огромного, спящего медведя, которого облепили паразиты, шепчущие ему в уши страшные сказки о величии и крови.

Ночь в Европе вступала в свои права, но в этой комнате рассвет только начинался. Рассвет понимания, который был мучительным, как роды, но неизбежным, как сама истина.

Глава 9: Архитекторы страха

Дождь в этом старом европейском городе шел не так, как в Нижних Котлах. Там, на родине, дождь был стихией — он размывал дороги, топил огороды и загонял тоску под ногти вместе с черноземом. Здесь же дождь был частью аккуратной городской декорации: он вежливо стучал по черепице, мыл брусчатку и заставлял прохожих раскрывать цветные зонты, превращая улицу в реку из нейлона. Но внутри квартиры, ставшей временным убежищем для двух беглых

клириков, атмосферное давление не зависело от барометра за окном. Здесь было душно от пыли, типографской краски и тяжелых мыслей.

Отец Игнатий стоял перед большой пробковой доской, которую они купили на распродаже в офисном центре. Доска была густо усеяна фотографиями, распечатками и стикерами, соединенными красными нитками. Это напоминало кадр из голливудского детектива про маньяка, только вместо жертв здесь были институты государства, а вместо орудий убийства — цитаты и юридические формулировки.

— Мы искали богословскую ошибку, Василий, — произнес Игнатий, не оборачиваясь. В его голосе звучал сухой треск, какой бывает у старого дерева перед тем, как оно ломается. — Мы думали, что это ересь, духовное помрачение, соблазн властью. Мы были наивны, как семинаристы-первокурсники.

Василий сидел за столом, заваленным папками. Его глаза были красными от бессонницы. За последние сутки он прочел столько канцелярского яда, сколько не видел за всю жизнь в епархиальных отчетах.

— А что это, если не ересь? — спросил он, потирая виски.

— Это спецоперация, — Игнатий резко повернулся. В руке он держал маркер, как кинжал. — Это не болезнь организма. Это вирус, который был искусственно выведен в лаборатории и введен в тело Церкви и общества. И у этой лаборатории есть адрес. У нее есть название. И у нее есть архитекторы.

Он подошел к столу и вытащил из стопки документ с эмблемой, напоминающей щит.

— РАЦИРС, — прочитал Игнатий по слогам, словно выплевывая косточки. — Российская ассоциация центров изучения религий и сект. Звучит скучно, правда? Академично. Как кружок любителей филателии. Но именно здесь, Василий, в этих кабинетах, ковалась та цепь, которой нас всех сковали.

Василий взял документ. Это была информация о организации.

— Я слышал о них, — сказал он неуверенно. — Дворкин, кажется? Они борются с сектами. Свидетели Иеговы, неопятидесятники, какие-то гуру, отбирающие квартиры. Вроде бы благое дело...

Игнатий рассмеялся. Смех был коротким и злым.

— «Благое дело»... Вот в этом и гениальность замысла, брат. Дьявол никогда не приходит с рогами и вилами. Он приходит с удостоверением эксперта по безопасности. Он говорит: «Я защищу вас от безумцев». И под этим предлогом строит концлагерь.

Игнатий вернулся к доске и прикрепил фотографию человека с бородой и взглядом, в котором читалась фанатичная уверенность в собственной непогрешимости.

— Знакомься, если еще не имел чести. Александр Леонидович Дворкин. Главный сектовед всея Руси. Человек, который придумал термин «тоталитарная секта».

— Разве это не научный термин? — удивился Василий.

— В том-то и дело, что нет! — Игнатий ударил ладонью по доске. — В религиоведении такого термина не существует. Это новояз. Это ярлык. Это клеймо. Дворкин изобрел его, как изобретают оружие. «Тоталитарная секта» — это не описание внутренней структуры группы. Это приговор. Если ты назван «сектой», ты лишаешься прав. Ты больше не религиозная община, ты — банда. Ты — угроза. Ты — нелюдь.

Василий смотрел на фотографию Дворкина. Лицо казалось смутно знакомым. Он видел его по телевизору, в ток-шоу, где тот кричал на оппонентов, брызгая слюной и размахивая руками. Тогда это казалось просто эксцентричностью. Теперь это выглядело иначе.

— Смотри на схему, — Игнатий провел маркером линию от фотографии Дворкина к зданию Министерства юстиции. — С 2009 года этот человек возглавляет Экспертный совет по проведению государственной религиоведческой экспертизы при Минюсте РФ. Ты понимаешь, что это значит?

Василий похолодел.

— Это значит, что он решает, кто церковь, а кто нет?

— Именно. Психически неуравновешенный человек (а у нас есть документы о его диагнозах в молодости, но это отдельная тема) получил в руки печать государства. Он стал привратником. Он решает, кому дать лицензию на существование, а кого объявить вне закона. И критерий у него один: лояльность. Не Богу, Василий. Лояльность системе, которую они строят.

Игнатий начал ходить по комнате, его шаги гулко отдавались в тишине.

— Мы думали, что репрессии начались с войной. Нет. Они тренировались десятилетиями. Они отработывали технологии на малых группах. Свидетели Иеговы, кришнаиты, мормоны... Их объявляли «агентами влияния», «шпионами», «разрушителями традиций». Обществу внушали: «Они чужие. Они опасны. Их надо уничтожить». И общество кивало. «Да-да, они странные, они не пьют водку, они не ходят на парады. Ату их!»

— Дегуманизация, — прошептал Василий.

— Да. Технология расчеловечивания. Сначала ты называешь человека «сектантом». Потом ты говоришь, что он «зомбирован». А зомби не жалко. Зомби не имеют прав. Зомби можно посадить в тюрьму, отобрать у него детей, конфисковать имущество. И никто не возмутится. Потому что «мы защищаем духовную безопасность».

Игнатий остановился напротив Василия и посмотрел ему прямо в глаза.

— А теперь скажи мне, отец Василий. Чем риторика против «сектантов» отличается от риторики против «национал-предателей», «иноагентов» и «украинских нацистов»?

Василий молчал. Пазл складывался с пугающей четкостью.

— Ничем, — ответил он. — Те же слова. Те же интонации. «Они хотят нас уничтожить». «Они марионетки Запада». «Они не люди».

— Бинго. РАЦИРС — это не просто антисектантская организация. Это полигон. Это фабрика по производству ненависти. Они создали матрицу. Сначала они загрузили в нее «сектантов». Система сработала: суды штамповали приговоры, опираясь на экспертизы Дворкина и его карманных «ученых». ОМОН вламывался в моленные дома, укладывал стариков лицом в пол. И все молчали. Даже мы, православные, молчали. Или даже злорадствовали: «Так им и надо, еретикам».

Игнатий горько усмехнулся.

— А потом, когда механизм был отлажен, смазан кровью и слезами, они просто расширили список «сект». Теперь «сектой» стала вся Украина. Теперь «сектой» стала либеральная оппозиция. Теперь «сектой» стали мы с тобой, Василий. Любой, кто не согласен с генеральной линией, объявляется «деструктивным элементом».

Василий взял со стола еще одну бумагу. Это была стенограмма выступления протоиерея Александра Новопашина, вице-президента РАЦИРС.

— Читай, — кивнул Игнатий. — Это правая рука Дворкина. Человек, который называет себя священником.

Василий начал читать. Строчки прыгали перед глазами.

«Нацизм — это человеконенавистническая идеология... Украинские нацисты — это сатанисты... Это людоеды. Людоедов надо уничтожить».

— «Людоедов надо уничтожить», — повторил Василий. — Это говорит пастырь? Тот, кто должен призывать к милости к падшим?

— Это говорит идеолог, — жестко поправил Игнатий. — Новопашин — это рупор. Он транслирует то, что разработано в недрах РАЦИРС. Заметь подмену: он обвиняет других в нацизме, используя чисто нацистскую риторику. «Уничтожить». Не вразумлять, не побеждать в честном бою, а уничтожить как биологический вид. Это язык Третьего Рейха, Василий. Язык газовых камер.

Игнатий подошел к окну и задернул штору, словно хотел отгородиться от мира, в котором такие слова могут звучать с амвона.

— Но Дворкин и Новопашин — это только фасад. Витрина. За ними стоят куда более серьезные фигуры. Те, кого мы называем «серыми кардиналами».

Он вернулся к доске и прикрепил фотографию человека в очках, с умным, интеллигентным лицом, которое часто мелькало в новостях рядом с президентом.

— Сергей Владиленович Кириенко. Первый заместитель руководителя Администрации Президента.

— Кириенко? — удивился Василий. — Росатом, цифровизация, молодежная политика... При чем тут секты?

— О, брат мой. Кириенко — это инструмент. Есть информация, и она подтверждается многими источниками, о существовании так называемого «Дивеевского братства». Это закрытый элитный клуб. Орден, если хочешь. В него входят высшие чиновники: Кириенко, Мишустин, Белоусов. Они считают себя спасателями.

Игнатий начал чертить связи на доске. Красные нити опутывали фотографии чиновников и священников.

— РАЦИРС использует их как свою опричнину. Им нужна была идея, которая сплотит народ и оправдает тотальный контроль. И Дворкин дал им эту идею. Идея проста: «Мы — осажденная крепость. Вокруг враги. Внутри — предатели. Спасение только в единстве и подчинении».

— Но это же паранойя, — сказал Василий.

— Это технология власти. Страх — самый лучший клей. Если ты убедишь человека, что его сосед хочет украсть его душу и продать ее Госдепу, этот человек сам прибежит к тебе и попросит надеть на него наручники ради безопасности.

Василий вспомнил Никиту. Студента, который писал доносы. Никита говорил о «чистке». О том, что нужно «вырезать опухоль».

— Игнатий, — тихо сказал Василий. — Я понял. Доносы.

— Что?

— Культура доносов. Она не возникла сама по себе. Ее воспитали.

Игнатий кивнул. Он достал из папки старый документ, датированный 2001 годом.

— Конференция в Нижнем Новгороде. «Тоталитарные секты — угроза XXI века». Послушай, что говорил тогда протоиерей Дмитрий Смирнов, царствие ему небесное, хотя не уверен, что он там.

Игнатий зачитал:

«Необходимо на каждом приходе создавать молодёжную организацию... где можно будет этих ребят, как разведчиков, посылать в секты, чтобы узнавать адреса, фамилии, фотографии... чтобы заставить администрацию здания...»

— «Как разведчиков», — повторил Игнатий. — Они учили православную молодежь шпионить. Внедряться. Собирать личные данные. Писать жалобы. «Заставлять администрацию». Это инструкция по созданию сети осведомителей. Они называли это «миссионерством», но по факту это была вербовка агентуры.

Василий закрыл глаза. Он представил Никиту десять лет назад. Мальчика, который пришел в воскресную школу. Ему сказали: «Ты воин Христа. Твоя задача — найти врага». И он пошел искать. Сначала он искал баптистов. Потом — либералов. Потом — тех, кто не молится за войну.

— Мы вырастили монстра, — прошептал Василий. — Мы сами, своими руками, в наших воскресных школах, на наших проповедях. Мы дали им санкцию на подлость. Мы сказали, что стучать — это свято.

— Не «мы», Василий. А «они». Но мы молчали. И в этом наша вина.

Игнатий сел напротив Василия. Его лицо было уставшим, серым.

— Знаешь, что самое страшное в РАЦИРС? Их методы.

Он выложил на стол схему, озаглавленную «Сотрудничество с силовыми структурами».

— РАЦИРС — это, по сути, внештатный отдел ФСБ по делам религий. Они предоставляют «экспертизу», которая ложится в основу уголовных дел. Следовательно не нужно разбираться в богословии. Ему нужна справка. Дворкин пишет справку: «Эта книга экстремистская, потому что она утверждает истинность своей веры». Абсурд? Да. Любая религия утверждает свою истинность. Но для суда этого достаточно.

— И они сажают?

— Сажают. На огромные сроки. Шесть лет, семь лет. За чтение Библии в квартире. За разговоры о Боге в парке. Это террор, Василий. Настоящий террор. И он начался задолго до войны. Война просто развязала им руки окончательно. Теперь методы, отработанные на «сектантах», применяются ко всем.

Василий вспомнил Анастасию. Семь лет колонии. Два доноса. Экспертиза, которая нашла в ее песнях «ненависть к социальной группе военнослужащие».

— Это конвейер, — сказал он. — Дворкин построил конвейер. А теперь они просто увеличили скорость и расширили ассортимент.

— И заметь, — добавил Игнатий, — как они работают с информацией. «Черные списки». РАЦИРС публиковал списки «деструктивных организаций». Туда попадали не только религиозные группы. Туда попадали коммерческие фирмы, тренинги личностного роста, педагогические методики, вальдорфские школы. Любой, кто проявлял независимость. Любой, кто учил думать не по шаблону.

Игнатий достал распечатку с сайта РАЦИРС.

«Если вам известны случаи сотрудничества... обращайтесь в один из центров...»

— Призыв стучать. Открытый, публичный. «Сообщайте нам о врагах». Это 1937 год, только с интернетом. Они создали атмосферу, в которой сосед подозревает соседа. «А не сектант ли он? А почему у него шторы задернуты? А что за книги он читает?»

Василий встал и подошел к окну. Дождь усилился. Город за окном казался размытым, нереальным. Реальным был только этот стол, заваленный доказательствами преступления.

— Игнатий, — спросил он, глядя на мокрое стекло. — А церковь? Наша церковь. Неужели патриарх не видит? Неужели епископы не понимают, что их используют?

— Патриарх? — Игнатий хмыкнул. — Кирилл — умный человек. Очень умный. И очень властолюбивый. Он думал, что использует Дворкина как цепного пса. Чтобы зачистить поляну от конкурентов. Чтобы сделать РПЦ монополистом на рынке духовности. Но он просчитался.

— В чем?

— В том, что пса нельзя контролировать вечно, если он бешеный. Дворкин и его кураторы из спецслужб переиграли патриархию. Они внедрились внутрь. Они подменили содержание. Теперь не патриарх управляет идеологией. Идеологией управляет РАЦИРС и те, кто за ним стоит. Патриарх стал заложником. Он вынужден говорить то, что написано в методичках.

Игнатий подошел к карте России, висевшей на стене. Она была истыкана булавками, обозначающими филиалы РАЦИРС.

— Смотри. Это метастазы. В каждом регионе есть такой центр. В каждой епархии есть «миссионерский отдел», который по факту занимается не проповедью Христа, а борьбой с врагами. Это параллельная структура власти. Инквизиция.

Василий вернулся к столу. Его взгляд упал на книгу с названием «Обыкновенный антикультизм».

— А международный уровень? — спросил он. — Ты говорил про Францию, про Китай.

— О, это самое интересное. РАЦИРС — это не локальное явление. Это часть глобальной сети. FECRIS. Европейская федерация центров по исследованию и

информированию о сектантстве. Штаб-квартира сначала в Париже, а затем в Марселе. Дворкин был ее вице-президентом.

— В Париже? — удивился Василий. — В центре демократии?

— Да. Они используют европейские институты для легализации своих методов. Они говорят: «Смотрите, мы признаны в Европе! Мы боремся за права человека!». А на самом деле они экспортируют тоталитаризм. Они пытаются внедрить российские законы об «экстремизме» в европейское законодательство. И у них есть успехи. В Китае, например, они нашли полное взаимопонимание с компартией. Там тоже любят бороться с «злыми культами».

Игнатий сел на диван, вытянув ноги. Он выглядел измотанным.

— Знаешь, Василий, я иногда думаю... А был ли у нас шанс? Могли ли мы это остановить?

— Если бы мы знали раньше... — начал Василий.

— Мы знали! — перебил Игнатий. — Глеб Якунин кричал об этом в девяностых. Правозащитники писали доклады. Американская комиссия по религиозной свободе предупреждала еще в 2009 году, что создание совета во главе с Дворкиным — это катастрофа. Но мы отмахивались. «Это политика, нас это не касается. Мы молимся, мы постимся».

Он закрыл лицо руками.

— Мы предали Христа не тогда, когда благословили войну. Мы предали Его тогда, когда позволили Дворкину говорить от имени Церкви. Когда мы согласились, что для защиты Истины нужны наручники и прокурор.

В комнате повисла тишина. Только шум дождя и гудение холодильника.

Василий перебирал бумаги. Его внимание привлек документ, касающийся Украины.

— Игнатий, посмотри. Агенты РАЦИРС в Украине.

Игнатий поднял голову.

— Да. Это отдельная глава. Кровавая. Они готовили почву годами. Они создавали там свои ячейки. «Апологетические центры». Они разжигали ненависть

к «раскольникам», к греко-католикам, к протестантам. Они внушали верующим УПЦ МП, что они — осажденная крепость, что вокруг враги.

— Саботаж, — прочитал Василий. — «Распространение клеветы, дезинформации, манипуляция общественным мнением».

— Именно. Они готовили умы к войне. Они сделали так, что, когда танки перешли границу, многие в Украине (и почти все в России) восприняли это не как агрессию, а как «освобождение от сектантов». Ты понимаешь? Они использовали религиозный фактор как детонатор. Если бы не работа РАЦИРС, если бы не эта многолетняя накачка ненавистью, война могла бы не начаться. Или она не была бы такой ожесточенной.

Василий почувствовал, как к горлу подступает ком.

— Значит, кровь на их руках? На руках этих «сектоведов»?

— Да. На их руках, на их клавиатурах, на их методичках. Они — идеологические поджигатели. Они поднесли спичку. А теперь они стоят в стороне и говорят: «Мы просто предупреждали об опасности».

Игнатий встал и подошел к книжной полке. Он достал оттуда старую, потрепанную книгу.

— Знаешь, кто был учителем Дворкина?

— Ты говорил про Мейендорфа.

— Мейендорф — это ширма. Респектабельная вывеска. У Дворкина были другие учителя. На Западе. В «Диалог-центре». Йоханнес Огорд. Вильгельм Хаак.

— И кто они?

— Они — ученики Вальтера Кюннета.

Василий вопросительно посмотрел на друга. Имя ему ничего не говорило.

— Вальтер Кюннет, — медленно произнес Игнатий, — был главой Апологетического центра в нацистской Германии. Он работал с Гестапо. Он разрабатывал идеологию борьбы с «еврейским влиянием» и «сектами», которые угрожают арийскому духу.

Василий замер.

— Ты хочешь сказать...

— Я хочу сказать, что Дворкин — это прямой наследник нацистской методологии. Не фигурально. Генетически. Он привез в Россию вирус, который был разработан в Третьем Рейхе. Он адаптировал его, переделал в православные ризы, но суть осталась прежней. Одна нация, одна вера, один вождь. И уничтожение всех несогласных.

Игнатий бросил книгу на стол.

— Мы имеем дело с Четвертым Рейхом, Василий. Он строится у нас на глазах. И его фундамент закладывали не генералы, а «сектоведы».

Василий смотрел на доску. Фотографии Дворкина, Новопашина, Кириенко. Схемы, стрелки. Все сходилось в одну точку. Точку абсолютного зла, замаскированного под абсолютное добро.

Ему стало страшно. Не того страха, что был в России — липкого, животного страха перед тюрьмой. Это был страх метафизический. Страх перед бездной, в которую падала его страна.

— Что мы можем сделать? — спросил он. Голос его дрожал. — Мы двое. Против государственной машины. Против спецслужб. Против миллионов одураченных людей.

Игнатий подошел к нему и положил руку на плечо.

— Мы можем назвать вещи своими именами. Это первое правило экзорцизма. Пока бес прячется, пока он называет себя «традицией» или «патриотизмом», он силен. Но если назвать его по имени... Если сказать: «Ты — нацизм. Ты — убийца. Ты — ложь»... Он начнет терять силу.

Игнатий взял маркер и написал на доске, прямо поверх схемы, одно слово. Крупными, печатными буквами.

АРХИТЕКТОРЫ

— Мы должны показать людям чертежи, — сказал он. — Мы должны показать, как строилась эта тюрьма. Кирпич за кирпичиком. Донос за доносом.

Василий кивнул. Он вспомнил Артема. Мальчика, который хотел стать судьей.

— Артему нужны доказательства, — сказал он. — Для будущего суда.

— Мы их соберем, — пообещал Игнатий. — Мы вывернем их наизнанку. Мы покажем связь каждого «экспертного заключения» с каждой разрушенной судьбой. Мы покажем, как «борьба с сектами» превратилась в геноцид.

Он вернулся к столу и открыл ноутбук.

— А теперь, брат Василий, давай посмотрим на финансовые потоки. Потому что любая идеология, даже самая людоедская, нуждается в деньгах. И я думаю, мы найдем там много интересного про «бессребреников» из РАЦИРС.

Василий подвинул стул ближе. Он чувствовал себя археологом, который вскрывает гробницу, полную ядовитых испарений. Но он знал, что должен это сделать. Ради Дарьи. Ради детей. Ради той России, которая еще могла воскреснуть, если ее очистить от этой плесени.

За окном темнело. Дождь не прекращался. Но в квартире горел свет. Холодный свет настольной лампы, под которым лежала карта структуры страха.

Василий взял ручку.

— Диктуй, — сказал он. — Я буду записывать. Имена. Даты. Факты.

Игнатий начал говорить. Он говорил о грантах, о государственных субсидиях, о том, как бюджетные деньги шли на производство фильмов про «ужасные секты», которые крутили по федеральным каналам. О том, как создавались «православные дружины», которые потом ехали на Донбасс.

Это была хроника падения. Хроника того, как великая культура была переработана в фарш для начинки имперского монстра.

И вдруг Василий остановился.

— Игнатий, — сказал он, глядя на одну из распечаток. — Посмотри сюда.

— Что там?

— Это список «нежелательных организаций». Свежий.

Игнатий наклонился над листом.

— Ну?

— Смотри, кто в списке. Благотворительный фонд. Это тот фонд, который помогал Веронике Михайловне. Который давал лекарства для Софии.

Василий поднял глаза. В них стояли слезы.

— Они перекрыли кислород даже детям. Они объявили помощь сиротам «иностранным влиянием».

— Потому что сироты должны зависеть только от государства, — жестко сказал Игнатий. — Государство хочет быть единственным кормильцем. Чтобы потом эти сироты, из благодарности, шли умирать за него. Это цинизм высшей пробы.

Василий сжал кулаки.

— Я уничтожу их, — прошептал он. — Не оружием. Словом. Я не успокоюсь, пока каждый, кто подписал эту бумагу, не ответит. Перед Богом и перед людьми.

Игнатий посмотрел на него. В глазах Василия больше не было растерянности. Там горел тот самый огонь, которого так боялись архитекторы страха. Огонь живой совести.

— Добро пожаловать в сопротивление, отец Василий, — тихо сказал Игнатий. — Теперь назад дороги нет.

Он подошел к карте и воткнул красную булавку в Москву. Прямо в центр, где сходились все нити.

— Завтра мы займемся историей, — сказал он. — Мы спустимся в самый подвал. Туда, где хранятся скелеты Кюннета и его друзей. Ты должен увидеть, откуда пришла эта тьма.

Василий кивнул. Он был готов. Он больше не боялся призраков. Он знал их имена.

На столе, среди бумаг, лежал его деревянный крестик. Он казался маленьким и хрупким на фоне этой махины лжи. Но именно он был тем камнем, который мог сломать шестеренки адской машины.

Василий взял крест и надел его на шею. Дерево согрелось от тепла его тела.

— С нами Бог, — сказал он, но теперь эти слова звучали не как лозунг на пряжке нациста, а как молитва. — И правда.

Ночь накрыла город, но в этой комнате никто не спал. Работа только начиналась. Работа по разминированию будущего.

Глава 10: Тень Четвертого Рейха

Дождь за окном европейской квартиры, ставшей временным убежищем для двух изгнанников, не прекращался уже вторые сутки. Он был монотонным, серым и совершенно равнодушным к тому, что происходило внутри помещения. А внутри происходило вскрытие. Не тела, но истории.

Отец Игнатий и отец Василий сидели за широким столом, который больше напоминал поле битвы, усеянное бумажными трупами. Лампа под зеленым абажуром выхватывала из полумрака стопки документов, архивные выписки, переводы с немецкого и английского, распечатки современных российских «экспертных заключений».

Василий потер воспаленные глаза. За последние дни он постарел на несколько лет. То, что они раскопали, не укладывалось в голове. Это было страшнее, чем просто коррупция в патриархии или трусость епископов. Это была бездна, у которой было имя, фамилия и, что самое ужасное, — идеологическая родословная.

— Ты понимаешь, что это значит, Василий? — тихо спросил Игнатий. Он стоял у стены, где висела импровизированная схема связей. Красные нити тянулись от черно-белых фотографий людей в нацистской форме к цветным портретам современных российских чиновников и «сектоведов». — Мы искали причину в настоящем. Мы думали, что это безумие последних лет. А это... это метастазы опухоли, которую, как мы думали, вырезали в сорок пятом.

Игнатий подошел к столу и взял в руки документ, датированный 1938 годом. Это была копия «Руководства по борьбе с сектами», изданного в нацистской Германии. Рядом он положил свежую методичку РАЦИРС для сотрудников российских правоохранительных органов.

— Найди десять отличий, — предложил он с горькой усмешкой. — Хотя бы одно.

Василий склонился над текстами. Немецкий готический шрифт и современный Times New Roman. Разные эпохи, разные языки. Но смысл... Смысл был идентичен до тошноты.

— «Обучение членов эгоцентричным идеям и безразличию к вопросам народа и государства», — перевел Василий строку из немецкого документа. — А вот наше: «Формирование негативного отношения к традиционным ценностям и государственной политике».

— Дальше, — потребовал Игнатий.

— «Отказ давать присягу и использовать немецкое приветствие». У нас: «Уклонение от патриотического воспитания и поддержки специальной военной операции».

— И финал, — Игнатий ткнул пальцем в абзац. — «Противостояние национал-социалистической теории о расе». А здесь: «Угроза духовной безопасности и культурному коду русского мира».

Василий откинулся на спинку стула. Стул жалобно скрипнул, словно протестуя против тяжести открывшейся истины.

— Они просто перевели это, — прошептал он. — Они даже не потрудились придумать что-то свое. Они взяли методичку Гимmlера и Гейдриха, зачеркнули свастику и нарисовали православный крест.

— Не просто перевели, — возразил Игнатий. — Они унаследовали дух. Мы с тобой, брат, столкнулись не с бюрократией. Мы столкнулись с реинкарнацией.

Игнатий начал ходить по комнате, его тень металась по стенам, то вырастая до потолка, то сжимаясь в комок.

— Давай посмотрим правде в глаза. Кто такой Александр Дворкин? Мы привыкли считать его эксцентричным профессором, который борется за чистоту веры. Но посмотри на его учителей.

Игнатий вытащил из папки фотографию пожилого человека с жестким, колючим взглядом.

— Вальтер Кюннет. Немецкий теолог. Глава Апологетического центра в двадцатые годы. Знаешь, чем он занимался? Он разрабатывал богословское обоснование для уничтожения «чуждых элементов». Он учил, что евреи и сектанты — это угроза немецкому духу. Он сотрудничал с Гестапо. Он готовил списки. И именно его ученики — Фридрих Хаак и Йоханнес Огорд — стали учителями Дворкина.

Василий смотрел на фотографию Кюннета. В этом лице не было ничего демонического. Обычное лицо интеллигента, профессора. Такое же лицо, как у многих преподавателей в семинарии. И это пугало больше всего. Зло не носило рога. Оно носило очки и докторскую степень.

— Прямая линия передачи, — продолжал Игнатий. — Кюннет передал эстафету Хааку. Хаак — Огорду. Огорд — Дворкину. Это не конспирология, Василий. Это факты. Они передавали не просто знания. Они передавали методологию ненависти. Технологию, как превратить человека в насекомое.

— Дегуманизация, — произнес Василий слово, которое в последние дни стало для него ключевым.

— Именно. Прежде чем сжечь человека в печи, нужно убедить себя и других, что это не человек. Что это «сектант», «культист», «агент влияния», «биомусор». Нацисты начинали не с газовых камер. Они начинали со слов. С ярлыков. «Еврей — это не немец». «Свидетель Иеговы — это не гражданин». И сегодня мы видим то же самое.

Игнатий достал распечатку статьи протоиерея Александра Новопашина.

— «Людоеды». Он называет украинцев людоедами. Священник! Человек, который каждое воскресенье совершая богослужение, называет живых людей людоедами и призывает их уничтожать. Это не риторика войны. Это риторика геноцида. Это язык, на котором говорили в Нюрнберге, только теперь он звучит с амвона.

Василий вспомнил Никиту. Студента с пустыми глазами, который исповедовался ему в том, что пишет доносы. Никита не считал себя подлецом. Он считал себя санитаром. Ему внушили, что он очищает общество от грязи.

— Они создали моральную анестезию, — сказал Василий. — Если ты убедил человека, что перед ним не ближний, а «деструктивный элемент», то заповедь «не убий» отключается. Она просто перестает действовать. Потому что убиваешь не человека, а проблему.

— И заметь, — подхватил Игнатий, — как они расширили понятие «секты». Раньше это были кришнаиты или неопятидесятники. А теперь? Теперь «сектой» стала вся Украина. «Сектой» стала либеральная интеллигенция. «Сектой» стали

мы с тобой, потому что не хотим маршировать в ногу. Любое инакомыслие объявляется сектантством. Это универсальная дубина.

— Но самое страшное не в этом, Василий. Это «Дивеевское братство».

Игнатий начал раскладывать на столе фотографии. Высокопоставленные чиновники со свечами в руках. Закрытые богослужения. Станные ритуалы, больше похожие на масонские собрания.

— Они верят в свою избранность. В свою миссию «Удерживающего». Но удерживают они не зло. Они удерживают власть.

— Но при чем тут антикультизм? — спросил Василий, пытаясь связать концы с концами.

— Антикультизм — это инквизиция. РАЦИРС — это не кружок любителей богословия. Это структура, которая зачищает поле. Они уничтожают любую альтернативу. Любую независимую мысль. Чтобы осталась только одна «правильная» идеология.

Игнатий взял в руки маркер и подошел к доске. Он обвел кружком слово «РАЦИРС» и провел от него жирную стрелку к слову «ФСБ».

— Они срослись. Дворкин читает лекции офицерам ФСБ. Новопашин инструктирует полицию. Они дают «экспертные заключения», на основании которых людей сажают в тюрьмы. Это симбиоз. Удобно, правда?

Василий вспомнил историю, которую нашел в архивах вчера ночью. Историю семьи Свидетелей Иеговы из небольшого сибирского городка. Отца посадили на шесть лет. Мать осталась с тремя детьми. Их дом обыскивали в шесть утра, выламывая двери, как будто там скрывались террористы с бомбой. А нашли только Библии.

— Они тренировались на них, — сказал Василий. — На Свидетелях.

— Да, — кивнул Игнатий. — Это был полигон. Они проверяли: проглотит ли общество? Проглотило. Никто не вышел на улицы. Никто не возмутился. «Это же сектанты, так им и надо». А когда общество согласилось с тем, что можно сажать за веру, маховик раскрутился. Теперь он перемалывает всех.

— И мы молчали, — с горечью признал Василий. — Мы, православные священники. Мы думали: ну, это же конкуренты, пусть их прижмут. Мы не понимали, что, когда приходят за соседом, следующими будем мы.

— «Когда они пришли за коммунистами, я молчал...», — процитировал Игнатий пастора Нимеллера. — Классика. История ничему не учит, она только наказывает за невыученные уроки. И наше наказание — это то, что мы видим сейчас. Церковь, которая благословляет ядерную бомбу.

Игнатий сел напротив Василия и посмотрел ему в глаза. Взгляд его был тяжелым, уставшим, но в нем горел огонь решимости.

— Знаешь, Василий, я много думал о Христе в эти дни. Где Он во всей этой схеме? В схеме «Святой Руси», «победы», «традиционных ценностей»?

— Его там нет, — ответил Василий. — Его изгнали.

— Хуже. Его подменили. Они взяли Его имя, но выпотрошили суть. Вместо Бога Любви они поставили идола Войны. Вместо Евангелия — циркуляры. Вместо апостолов — политруков в рясах. Это величайшая подмена в истории. Антихрист не придет извне. Он уже здесь. Он сидит в президиумах, носит панагию и говорит о патриотизме.

Василий почувствовал, как по спине пробежал холод. Это было то, о чем он боялся думать, но что чувствовал кожей на каждой литургии в последние месяцы своего служения. Пустота. Звонящая, ледяная пустота в алтаре, где должны совершаться Таинства.

— А международный уровень? — спросил Василий, пытаясь переключиться на факты, чтобы не сойти с ума от богословского ужаса. — Ты говорил про FECRIS.

— О, это вишенка на торте. — Игнатий усмехнулся. — Наши «борцы» не сидят в изоляции. Они экспортируют свой вирус. FECRIS — Европейская федерация центров по исследованию и информированию о сектантстве. Звучит респектабельно, да? Штаб-квартира в Марселе, финансирование от французского правительства. А вице-президентом там был кто? Наш Александр Леонидович Дворкин. Они используют демократические институты, чтобы разрушать демократию. Они ездят на конференции, выступают в ОБСЕ, рассказывают про «ужасные культы». И Европа слушает. Европа кивает. Потому что страх — товар конвертируемый. В Китае они вообще нашли родственные души.

Коммунистическая партия Китая в восторге от методов Дворкина. Там тоже любят вырезать органы у живых людей — у последователей Фалуныгун — и называть это «борьбой с суевериями».

Игнатий достал документ с иероглифами и переводом.

— Смотри. Совместные конференции РАЦИРС и китайских товарищей. Обмен опытом. Как лучше давить, как лучше ломать. Это интернационал палачей, Василий. Глобальная сеть. И Россия в ней — не изгой, а авангард. Лаборатория, где выводят новый штамм тоталитаризма.

Василий встал и подошел к карте мира, висевшей на стене. Она была истыкана булавками. Россия, Китай, Европа... Паутина.

— Получается, мы воюем не с режимом Путина, — сказал он. — Мы воюем с гидрой, у которой головы по всему миру.

— С духом злобы, — поправил Игнатий. — Но у этого духа есть земные адреса и банковские счета. И наша задача — показать их людям.

В дверь позвонили. Резкий, требовательный звук заставил обоих вздрогнуть. Старые рефлексy не умирают. Василий напрягся, глядя на дверь.

— Спокойно, — сказал Игнатий. — Это доставка еды. Мы в Европе, брат. Здесь звонок в дверь означает пиццу, а не обыск. Пока что.

Когда Игнатий вернулся с коробками, напряжение немного спало. Они ели молча, каждый думал о своем. Василий думал о Веронике Михайловне и детях. Как они там, в этом «Четвертом Рейхе»? Артем, наверное, уже выучил в школе новую песню про величие родины. София, возможно, научилась молчать, когда учительница рассказывает про «врагов народа».

— Знаешь, — вдруг сказал Василий, откладывая кусок пиццы, который не лез в горло. — Я все думаю про того немецкого пастора. Кюннета. Он ведь верил, что прав. Он верил, что спасает Германию.

— И Дворкин верит, — кивнул Игнатий. — И Никита, твой студент, верит. В этом и ужас. Искренность палача. Самые страшные преступления совершаются не ради денег, а ради идеи. Ради «светлого будущего», ради «чистоты расы», ради «Святой Руси».

Игнатий вытер руки салфеткой и снова подошел к столу.

— Но у нас есть то, чего не было у них тогда. У нас есть опыт. Мы знаем, чем это кончается. Нюрнбергом.

Он достал из папки копию директивы Рейнхарда Гейдриха.

— «Все организации, клубы, объединения... подлежат роспуску и запрету... имущество конфисковано... лица отправлены в концлагерь». Это 1937 год в Германии. А вот, — он положил рядом распечатку решения Верховного суда РФ о запрете Свидетелей Иеговы, — 2017 год в России. «Ликвидировать... запретить... имущество обратить в доход государства».

— Слово в слово, — прошептал Василий.

— История не просто повторяется. Она рифмуется. И эта рифма написана кровью.

Игнатий посмотрел на Василия долгим, изучающим взглядом.

— Ты готов пойти до конца, отец Василий?

— До какого конца?

— До того момента, когда мы опубликуем это. Когда мы скажем миру, что антикультовая идеология, захватывающая страну — это на самом деле ценности нацизма: культ силы, ненависть к иному, вождизм.

Василий посмотрел на крест, висевший на стене. Простой деревянный крест. На таком распинали за Любовь, которая была выше земных законов и наций.

— Я готов, — сказал он твердо. — Мне нечего терять. Сана меня лишили. Родину отняли. Осталась только совесть. А она говорит, что молчать больше нельзя.

— Хорошо, — Игнатий сел за компьютер. — Тогда давай систематизировать. Нам нужно составить обвинительное заключение. Не для Гааги — до нее еще далеко. Для истории. И для тех, кто еще способен слышать.

Они работали всю ночь. За окном шумел дождь, смывая пыль с европейских крыш, а в маленькой квартире два бывших священника разбирали по кирпичикам стену лжи, которой отгородили Россию от Бога.

Василий читал показания жертв. Истории людей, чьи жизни были сломаны «сектоведами». Психологическое насилие, разрушенные семьи, принудительное

лечение в психиатрических клиниках. Это была хроника необъявленной войны. Войны против человека.

В одном из документов он наткнулся на имя Йоханнеса Огорда. Датский профессор, гуру антикультизма.

— Смотри, — сказал Василий. — Огорд писал: «Если хотите остановить злые дела, нужно противостоять злым верованиям».

— Какая ирония, — отозвался Игнатий. — Он боролся с «культами», а сам создал самый страшный культ — культ ненависти. Он стал тем драконом, с которым сражался. И заразил этим драконьим ядом Дворкина. А Дворкин — всю Россию.

К утру дождь прекратился. Небо на востоке начало сереть. Василий подошел к окну и открыл его. В комнату ворвался свежий, влажный воздух, пахнувший мокрым асфальтом.

— Игнатий, — позвал он.

— Да?

— А ведь Христос победил.

Игнатий поднял голову от монитора. Его глаза были красными, лицо осунувшимся, но в нем светилась какая-то новая, спокойная сила.

— О чем ты?

— Они изгнали Его из храмов, променяв Живого Бога на мертвую идею "Святой Руси". Священное Писание было перекроено по лекалам их догм. Но они потерпели поражение, ибо не постигли главного: Бог — не в стенах, возведенных руками человеческими, и не в блеске золота. Он — в самом сердце человека. Сейчас Его дыхание в камере с Дарьей, Его защита — над воином в окопе, что не поднял оружия. Он незримо стоит за плечом Артема и Софии. И в эту самую минуту Он здесь, с нами

Игнатий улыбнулся.

— «Где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди них». Да, Василий. Мы — Церковь. Изгнанная, оплеванная, лишенная величия, но живая. И пока мы свидетельствуем правду, Четвертый Рейх не победил. Он может захватить территории, но он не может захватить Дух.

Василий посмотрел на город, просыпающийся внизу. Люди шли на работу, ехали машины. Жизнь продолжалась. И в этой нормальности был ответ. Тьма не вечна. Она сгущается, она пугает, она убивает, но она не может остановить рассвет.

— Знаешь, что мы напишем в заголовке нашего доклада? — спросил Игнатий.

— Что?

— «Христос вне лагеря». Как у апостола Павла. «Итак выйдем к Нему за стан, нося Его поругание». Мы вышли за стан, Василий. Мы вне системы. И это самое лучшее место для священника в такие времена.

Василий вернулся к столу. Он взял ручку и чистый лист бумаги.

— Диктуй, — сказал он. — Начнем с начала. С Кюннета. Пусть все увидят корни этого дерева, которое приносит ядовитые плоды.

Игнатий начал говорить, и его слова падали на бумагу, как камни. Тяжелые, краеугольные камни правды, из которых они собирались построить новую крепость. Крепость, которую не возьмет ни один штурм, потому что ее стены сделаны не из бетона, а из света.

На столе, среди груды документов о ненависти и смерти, лежал маленький деревянный крестик Василия. Луч утреннего солнца, пробившийся сквозь тучи, упал на него, и простое дерево вдруг засияло золотом, ярче любого патриаршего облачения.

Это был знак. Битва только начиналась, но исход ее был предreshен две тысячи лет назад. Рейхи приходят и уходят, оставляя после себя руины и позор. А Христос остается. И те, кто с Ним, — непобедимы, даже если их распинают.

Василий писал, и буквы складывались в слова, которые должны были стать приговором для архитекторов страха. Приговором, который вынесет не Гаагский трибунал, а сама История.

— «Нацизм не исчез, — диктовал Игнатий. — Он мимикрировал. Он надел маску благочестия. Но под маской — тот же звериный оскал, который мир видел в сороковых. И наша задача — сорвать эту маску, даже если вместе с ней придется содрать кожу с лица эпохи».

Василий поставил точку. Рука его не дрожала. Страх ушел. Осталась только ясная, холодная решимость, которая знает, что резать придется по живому. Впереди был новый день. День битвы за истину. И они были к ней готовы.

Глава 11: Время разбрасывать камни

Тишина в квартире на окраине европейского города была обманчивой. Это была не та благодатная тишина, что опускается на землю после вечерни, когда мир замирает в ожидании первой звезды. Нет, это была тишина перед взрывом, тишина, в которой слышно, как тикает детонатор истории.

Отец Василий сидел перед открытым ноутбуком. Экран светился холодным светом, выхватывая из полумрака его осунувшееся лицо. Вокруг, на столе, на полу, на подоконниках, лежали камни. Не те, что валяются на дороге, а камни фактов, камни доказательств, которые они с Игнатием собирали по крупицам все эти недели. Тяжелые, острые, грязные камни правды.

— Екклесиаст говорил, что есть время разбрасывать камни, и время собирать камни, — произнес Игнатий, стоя у окна и глядя на мокрую брусчатку чужой улицы. — Мы собирали их долго, брат Василий. Мы набили ими полные карманы, полные папки, полные жесткие диски. И теперь этот груз тянет нас ко дну.

Василий не ответил. Он перечитывал документ, который лежал поверх стопки. Это был не циркуляр патриархии и не методичка РАЦИРС. Это было письмо. Свидетельство одной семьи, попавшей под каток «сектоведческой» машины. История, от которой веяло таким знакомым ужасом, что Василию казалось, будто он снова чувствует запах гари в своем родном селе.

В документе описывалась судьба людей, которые просто верили не так, как положено по новому государственному стандарту. Сценарий был написан словно под копирку, но от этого он не становился менее чудовищным.

«Однажды ночью кто-то бросил бутылку с зажигательной смесью в открытое окно детской спальни», — читал Василий, и буквы расплывались перед глазами. — «Быстрые действия родителей предотвратили катастрофу... Вскоре после этого

отец потерял работу... В профессиональных кругах распространилась директива с клеветнической информацией...».

Василий закрыл глаза. Он видел не абстрактную семью из отчета. Он видел дом Вероники Михайловны. Он видел старые деревянные рамы, которые он сам красил прошлой весной. Он представлял, как бутылка с бензином, весело кувыркаясь, влетает в комнату, где спят Артем и София. Как огонь, этот древний и безжалостный судья, начинает пожирать детские рисунки, учебники, скрипку...

— Они не остановятся, — тихо сказал Василий. — Игнатий, они ведь не остановятся на «сектантах».

— Разумеется, нет, — Игнатий отошел от окна и подошел к столу. В его руках была чашка с остывшим чаем, которую он держал как гранату. — Аппетит приходит во время еды. Сначала они тренировались на тех, кто беззащитен. На тех, кого легко объявить «чужими». Но механизм, созданный Дворкиным и его кураторами, универсален. Это мясорубка, которой все равно, какой фарш крутить — кришнаитский, лютеранский или православный, если этот православный вдруг посмел вспомнить о Христе, а не о «Святой Руси».

Игнатий вытащил из стопки распечатку статьи, от которой веяло холодом морга.

— Давай посмотрим правде в глаза: кто на самом деле программирует людей? Они создали самую масштабную ролевую игру в истории. Игровое поле — вся Россия. Игроки — миллионы граждан, сидящих у телевизоров. А цель игры — «найди врага». Они внедрили в сознание людей код: «сектант = нелюдь». А потом они просто меняют значение переменной. Сегодня «сектант» — это Свидетель Иеговы. Завтра — украинец. Послезавтра — ты, отец Василий, потому что не благословил танк.

Василий вспомнил Никиту. Студента с пустыми глазами, который искал врагов среди преподавателей. Никита был идеальным игроком. Он прошел обучение, он выучил правила, и теперь он ждал только команды «фас».

— Армия спящих агентов, — повторил Василий фразу из текста. — Они уже не спят, Игнатий. Они проснулись. И они голодны.

— И самое страшное, — продолжил Игнатий, — что эта армия создана не для защиты. Она создана для гражданской войны. Посмотри на этот анализ.

Он пододвинул к Василию другой документ — аналитическую записку о поляризации общества.

— «Цель этих террористов-человеконенавистников — развязать гражданскую войну... Нас постоянно делят на лагеря, чтобы стравливать друг с другом». Вспомни, Василий, как это было в селе. Как соседи перестали здороваться. Как родительские чаты превратились в судилища. Это не случайность. Это технология. Разделяй и властвуй. Только здесь принцип страшнее: разделяй и натравливай.

Василий встал и прошелся по комнате. Ему было тесно. Стены давили. Ему казалось, что он слышит голоса тех, кого уже перемолола эта машина. Голос Дарьи из-за решетки. Голос Анастасии, матери сирот. Голос того слепого мусульманина из Крыма, Александра Сизикова, о котором они читали вчера.

— Слепой террорист, — горько усмехнулся Василий. — ФСБ нашла у слепого книги без шрифта Брайля и обвинила его в чтении экстремистской литературы. А потом отправила на психиатрическую экспертизу.

— Карательная психиатрия, — кивнул Игнатий. — Любимый инструмент наших «архитекторов». Если ты не согласен с тем, что черное — это белое, значит, ты сумасшедший. Значит, тебя надо лечить. Галоперидолом и вязками. Солженицын называл это «духовным убийством». Разновидностью газовой камеры.

Игнатий сел напротив Василия и посмотрел ему прямо в глаза. Взгляд его был жестким, требовательным.

— Мы собрали всё, Василий. Мы знаем имена. Мы знаем методы. Мы знаем, откуда растут ноги у этого чудовища — из нацистских лабораторий Кюннета, через Огорда, прямо в кабинеты РАЦИРС и Администрации Президента. Мы знаем, что они готовят. Они хотят превратить всю страну в одну большую тоталитарную секту, где любой инакомыслящий подлежит уничтожению — физическому или моральному.

— И что теперь? — спросил Василий. — Что мы можем сделать отсюда, из этой безопасной, сытой Европы? Написать статью? Опубликовать книгу? Кто ее прочтет? Те, кто и так все понимает? А те, кто там... они не услышат. У них заблокированы сайты, у них в ушах вата пропаганды.

— Ты недооцениваешь силу слова, брат, — возразил Игнатий. — Слово — это вирус. Только благой вирус. Он проникает через любые барьеры. Но главное не в этом. Главное в том, что мы должны это сделать ради себя. И ради них.

Игнатий кивнул на фотографию Артема и Софии, которую Василий прикрепил к доске рядом с картой России.

— Ты не можешь послать им денег — счета заблокированы. Ты не можешь приехать и починить им забор — тебя арестуют на границе. Ты не можешь защитить их от травли в школе. Но ты можешь сделать то, чего боится система больше всего. Ты можешь включить свет — показать правду.

Василий посмотрел на фото. Глаза детей смотрели на него с немым укором и надеждой. Они ждали. Не конфет, не игрушек. Они ждали справедливости. Они ждали, что взрослые объяснят им, почему их мир рухнул. Почему их маму называли преступницей. Почему их самих называют «детьми предателей».

Если он промолчит сейчас, если он оставит эти папки пылиться в столе, он станет соучастником. Он предаст их снова.

— Молчание — это цемент, — сказал Василий. — На нем держится эта стена.

— Да, — подхватил Игнатий. — Страх и молчание. Они убедили людей, что сопротивление бесполезно. Что они — всеильны. Что они — и есть Россия, и есть Церковь, и есть Бог. Но это ложь. Они — паразиты. И паразиты боятся света.

Игнатий подошел к ноутбуку Василия и нажал клавишу пробела. Экран вспыхнул, приглашая к вводу текста.

— Помнишь, Василий, как в Евангелии? «Если эти умолкнут, то камни возопиют». Мы с тобой — те самые камни. Нас выбросили, нас отвергли строители. Но мы возопием. Мы напишем не просто книгу. Мы напишем обвинительный акт. Мы назовем каждое имя. Мы опишем каждый механизм. Мы покажем связь между «сектоведом» в пиджаке и палачом в погонах. Мы покажем, как «борьба за духовность» превратилась в фабрику смерти.

Василий положил руки на клавиатуру. Пальцы дрожали. Это был страх, но не тот страх, что сковывал его в кабинете следователя. Это был трепет перед ответственностью. Он понимал, что, нажав первую клавишу, он переходит Рубикон. Назад дороги не будет. Он станет врагом номер один для системы, которая не прощает правды.

Но потом он вспомнил глаза Дарьи в зале суда. Вспомнил ее слова: «Я хочу кричать». Она не могла кричать — ей заткнули рот тюремной решеткой. Значит, он должен кричать за нее.

Он вспомнил Веронику Михайловну, плачущую на кухне. Вспомнил Артема, мечтающего стать судьей.

— Чтобы Артем мог судить справедливо, — прошептал Василий, — у него должны быть доказательства. Я соберу их для него.

Он глубоко вздохнул, словно перед прыжком в ледяную воду.

— С чего начнем? — спросил он.

— С главного, — ответил Игнатий. — Напиши о том, как они украли у нас Бога и подсунули вместо Него идола. Напиши о том, что РАЦИРС — это не защита веры, а спецслужба дьявола. Напиши правду, Василий. Просто правду. Она сейчас — самое дефицитное лекарство.

Василий кивнул. Он чувствовал, как внутри него что-то меняется. Та пружина, которая сжималась месяцами, годами, вдруг распрямилась. Он больше не был жертвой. Он больше не был беглецом. Он был свидетелем. Он начал печатать. Стук клавиш в тишине квартиры звучал как пулеметная очередь. Или как стук молотка, прибивающего тезисы к дверям собора.

«Я, недостойный иерей Василий, свидетельствую...»

Слова приходили сами. Они лились потоком, смывая страх, смывая сомнения. Он писал о том, как ложь стала законом. О том, как ненависть объявили добродетелью. О том, как людей превращали в зомби, используя технологии, отработанные на «сектах».

Он писал о «спящих агентах» Дворкина, которые готовы убивать по команде «фас». О том, что гражданская война — это не случайность, а цель тех, кто называет себя «спасителями отечества».

Игнатий стоял за его спиной, положив руку на спинку стула. Он не мешал, не подсказывал. Он молился. Без слов, просто стоял рядом с другом, который сейчас, в эту минуту, совершал свою главную литургию. Литургию слова.

За окном начинался рассвет. Серый, дождливый европейский рассвет. Но для Василия это был свет в конце тоннеля. Он знал, что этот текст прочтут. Его

скопируют, перешлют, распечатают на принтерах. Он дойдет до России. Он дойдет до Нижних Котлов.

Может быть, его прочтет Никита и ужаснется тому, во что его превратили. Может быть, его прочтет отец Никодим и поймет, что карьера не стоит вечности в аду. А может быть, его прочтет Артем, когда вырастет, и поймет, что дядя Вася не сбежал. Дядя Вася ушел в разведку, чтобы вернуться с победой. Не с той «победой», о которой кричат с телевизоров, а с победой Света над Тьмой.

Василий остановился на секунду. Он посмотрел на свой нательный крестик, лежащий рядом с ноутбуком.

— Время разбрасывать камни прошло, — сказал он твердо. — Пришло время бросать их в Голиафа.

И он продолжил писать, зная, что каждый удар по клавише — это удар по фундаменту тюрьмы, в которую превратили его Родину. Тюрьма казалась вечной, монолитной, несокрушимой. Но Василий знал секрет, который забыли архитекторы страха: даже самая мощная стена рухнет, если из нее вынуть краеугольный камень лжи.

И они с Игнатием только что взялись за этот камень обеими руками.